МАРГАРЕТ

Э·Т·В·У·Д

ПРОБУЖДЕНИЕ



Самая
экстраординарная
метаморфоза
в художественной
литературе
со времен Кафки.

The Guardian

18+

ОТ АВТОРА КУЛЬТОВОГО РОМАНА «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ»

Пробуждение [litres]
Маргарет Этвуд

Аннотация
Маргарет Этвуд. Пробуждение
Часть первая
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая

Часть вторая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая
- Глава восемнадцатая

Глава девятнадцатая
Часть третья
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая

Аннотация

Группа друзей едет в дремучую канадскую глубинку, в хижину на озере, где раньше жили родители безымянной главной героини. Не так давно пропал ее отец, много лет живший здесь отшельником, и она должна вернуться в прошлое, чтобы разгадать тайну его таинственного исчезновения. Женщина баюкает в себе забытую травму, которая то и дело всплывает на поверхность. День за днем она все глубже погружается в воспоминания о детстве в этом месте. Она буквально сливается с природой и отгораживается от мельтешащих, бессмысленно жестоких людей, которые постепенно начинают походить в ее воображении на пластмассовых манекенов, на андроидов. За отчуждением следует подступающее безумие… Но, быть может, только через безумие и возможно пробудиться, чтобы начать настоящую жизнь.

Маргарет Этвуд
Пробуждение

© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Часть первая

Глава первая

Не верится, что я снова на этой петляющей вдоль озера дороге, где умирают белые березы, — болезнь распространяется с юга. И я отмечаю, что появился прокат гидропланов. Но это все еще на подходе к городу; мы не стали ехать через него, он достаточно разросся, чтобы сделали обводную дорогу — это прогресс.

Я никогда не считала это поселение городом; скорее, последним или первым сторожевым постом — смотря в какую сторону ехать, — скоплением хибар и ларьков с единственной главной улицей, с одним кинотеатром «…итц…оял» (красная «Р» перегорела) и двумя ресторанами, в которых подавали одинаковые серые биточки в подливе, похожей на грязь, консервированные бобы, водянистые и бледные, как рыбьи глаза, и картошку фри, залитую свиным жиром. «Закажи яйцо пашот, — говорила мама, — и по краям будет видно, насколько оно свежее».

В одном из этих ресторанов, еще до моего рождения, мой брат забрался под стол и гладил руками ноги официантки, когда она приносила еду; это было во время войны, и официантка была

в блестящих оранжевых чулках из вискозы, таких брат прежде никогда не видел, поскольку мама ничего подобного не носила. Потом как-то раз мы с ним бежали босиком по снегу через тротуар, потому что у нас не было ботинок — все сносили за лето. В машине мы уселись, завернув ноги в покрывало, и притворились, будто мы раненые. Брат сказал, что немцы отстрелили нам ноги.

Но теперь я в другой машине, Дэвида и Анны; сплошной хром и острые плавники, несуразный монстр из прошлого десятилетия. Чтобы включить свет, нужно засунуть руку под приборную панель. Дэвид говорит, новая машина им не по карману, но я ему не очень верю. Он хороший водитель, я это понимаю, но все равно свободную руку держу поближе к дверце, чтобы быть готовой в случае чего быстро выскочить. Я и раньше ездила с ними в этой машине, но на этой дороге что-то как будто не так — то ли они трое не в своей тарелке, то ли я.

Я на заднем сиденье, с рюкзаками; а этот, Джо, сидит рядом, жует жвачку и держит меня за руку — и то, и другое от скуки. Я изучаю его руку: широкая ладонь, короткие пальцы, сжимаются и разжимаются, играя с моим золотым кольцом, крутя его — такая у него привычка. У него

крестьянские руки, у меня крестьянские ноги, точнее, ступни, как нам сказала Анна. Сейчас все понемногу шаманят — Анна гадает по руке на вечеринках, говорит, это заменяет разговор. Осмотрев мою руку, она сказала: «У тебя есть близняшка»? Я сказала: «Нет». «Это точно? — спросила она. — Потому что некоторые линии у тебя двоятся». Ее указательный палец скользил по моей ладони: «У тебя было хорошее детство, но потом тут такой занятный излом». Она наморщила лоб, и я сказала, что просто хочу знать, сколько проживу, остальное можно пропустить. Тогда-то она и сказала нам, что у Джо руки надежные, но не чуткие, и я рассмеялась, поскольку это было не так.

В профиль он напоминает быка с американского пятицентовика — такой же лохматый и крутолобый, глаза прищурены, а взгляд задиристый, но ничего не выражающий, как у представителя какого-то вида животных, прежде бывшего хозяином природы, а теперь близкого к вымиранию. Он и сам считает себя таким: несправедливо поверженным. Втайне ему хочется, чтобы для него устроили что-то вроде заповедника, как для редкой птицы. Прекрасный Джо.

Он замечает, что я смотрю на него, и выпускает

мою руку. Потом вынимает изо рта жвачку, заворачивает в фольгу, засовывает в пепельницу и складывает руки. Это значит, мне нельзя рассматривать его; и я устремляю взгляд вперед.

Первые несколько часов мы ехали по пологим холмам, встречая тут и там коров, лиственные деревья и остовы мертвых вязов, которые сменились хвойными деревьями и выбоинами от взрывов в розовом и сером граните и еще хлипкими туристскими хижинами и указателями «ВОРОТА НА СЕВЕР» — как минимум четыре городка претендуют на это звание. «Будущее на севере» — когда-то был такой политический лозунг; когда отец его услышал, он сказал, что на севере нет ничего, кроме прошлого, да и того немного. Где бы он ни был сейчас, живой или мертвый — этого никто не знает, — он больше не сочиняет эпиграммы. Родители не должны стареть. Я завидую тем, кто потерял отца и мать в юном возрасте, — так их легче помнить, они уже не изменятся. Мои-то уж точно — я могла надолго уходить и возвращаться, и все оставалось по-прежнему. Для меня они жили в каком-то другом времени и занимались своими делами, надежно отгороженные стеной, прозрачной как желе, — мамонты, вмерзшие в ледник. Все, что

мне было нужно, это вернуться, когда буду готова, но я продолжала откладывать встречу — слишком многое пришлось бы объяснять.

Теперь мы проезжали поворот к карьеру, выкопанному американцами. Отсюда поросший елью холм кажется совершенно обычным, но его выдают толстые силовые кабели, уходящие в лес. Я слышала, они уехали — может, это была уловка, и они вполне могли по-прежнему жить там: генералы в бетонных бункерах и рядовые солдаты в подземных казармах, где постоянно горит свет. Проверить невозможно, поскольку нам туда вход закрыт. Их пригласил остаться город, ведь они помогали его процветанию — они много пили.

— Вот где ракеты, — говорю я.

Вот где *были* ракеты. Но я сказала, как сказала.

— Чертовы фашистские свиньи эти янки, — говорит Дэвид в своей всегдашней манере.

Анна ничего не говорит. Ее голова покоится на спинке сиденья, концы светлых волос треплет ветер из бокового окошка, которое толком не закрывается. До этого она поочередно пела «Дом восходящего солнца» и «Лили Марлен», пытаясь придать голосу глубокое, горловое звучание; но выходило у нее как у осипшего ребенка. Дэвид включил радио, однако ничего не мог поймать

— мы были между станциями. Когда Анна запела «Сент-Луис блюз», Дэвид стал насвистывать, и она замолчала. Она моя лучшая подруга; я знаю ее два месяца.

Я наклоняюсь вперед и говорю Дэвиду:

— Бутылочный дом за следующим поворотом, потом налево.

Он кивает и сбавляет скорость. Я уже рассказывала им об этом доме — подумала, такой объект им будет интересен. Они снимают кино, Джо занимается с камерой, хотя у него совершенно нет опыта, но Дэвид говорит, что они люди нового Возрождения — сами учатся всему, что им нужно. В основном это была идея Дэвида — он называет себя режиссером: они уже придумали титры. Он хочет снимать то, что им попадется в дороге, случайные сцены, как он говорит, и таким же будет название фильма: «Случайные сцены». Когда они истратят всю пленку (всю, что смогли купить; камеру они взяли в прокате), то собираются просмотреть отснятый материал и перемонтировать его.

— Как вы поймете, что оставлять, если еще не знаете, о чем будет фильм? — спросила я Дэвида, когда он рассказал мне об этом.

Он смерил меня взглядом внимай-мастеру-

профан.

— Если сразу закроешь разум, ты все запорешь. Что тебе нужно — так это войти в поток.

Анна, которая стояла у плиты, насыпая кофе, сказала, что все, кого она знает, снимают кино, а Дэвид возразил, что это, мать твою, не причина не снимать самому.

— Ты прав, — сказала Анна. — Извини.

Но за глаза она смеется над этой его затеей и называет фильм «Случайные хрены».

Бутылочный дом построен из пластиковых бутылок, сцементированных вместе, донышками наружу, причем зеленые и коричневые образовывают ромбовидные узоры, наподобие тех, что нам показывают в школе, когда учат рисовать вигвамы; вокруг дома стена, тоже из бутылок, из коричневых сложены буквы, составляющие надпись: «БУТЫЛОЧНАЯ ВИЛЛА».

— Четко, — говорит Дэвид.

И они вылезают из машины с камерой. Мы с Анной выбираемся за ними; мы разминаем затекшие руки, и Анна достает сигарету. На ней лиловая туника и белые клеши, уже испачканные машинным маслом. Я советовала ей надеть джинсы или что-то вроде, но она сказала, они ее полнят.

— Кто это сделал, господи боже, — говорит она, — подумать только.

Но я ничего не знаю об этом доме, кроме того, что он стоит тут целую вечность, и болото с переплетенными черными елями вокруг только добавляет загадочности этому нелепому монументу во славу какого-то чудного изгнанника или, возможно, добровольного отшельника, вроде моего отца, выбравшего болото потому, что больше нигде нельзя было воплотить мечту его жизни — жить в доме из бутылок. Внутри стены что-то вроде лужайки, окаймленной пучками оранжевых ноготков.

— Класс, — восхищается Дэвид. — Правда четко.

Он обнимает одной рукой Анну и быстро прижимает к себе, показывая, как он рад, словно она имеет какое-то отношение к созданию Бутылочной виллы. Мы снова садимся в машину.

Я смотрю в боковые окошки как в телевизоры. Ничего не помню до того момента, как мы подъезжаем к границе, отмеченной указателем с надписью: «BIENVENUE»[1] — с одной стороны и «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» — с другой. Указатель с

---

[1] Примечания: 1

Добро пожаловать *(фр.) — Здесь и далее прим. пер.*

дырками от пуль, покрасневшими от ржавчины по краям. Как всегда, охотники по осени используют его вместо мишени; сколько бы раз его ни меняли и ни перекрашивали, дырки от пуль появляются снова, словно их создает не внешнее воздействие, а какая-то внутренняя сила или инфекция, вроде плесени или фурункулов. Джо хочет заснять указатель, но Дэвид против:

— Не-е, чего ради?

Теперь мы на моей родной земле, на чужой территории. Мое горло сжимается — такой рефлекс у меня возник, когда я поняла, что люди могут произносить ничего не значащие слова, входящие в мои уши. Проще быть глухой и тупой. Глухонемым суют карточки с ручной азбукой, когда хотят спросить мелочь. Но глухонемой в любом случае должен знать буквы.

Первый запах — это лесопилка, древесная пыль, целые курганы во дворе, где лежат стопки деревянных плит. Мягкая древесина идет на бумажную фабрику, а бревна побольше сплавляют по реке, цепями связывая их кольцом так, что свободные подталкивают друг друга внутрь; их доставляют на лесопилки по желобу, грохочущему над дорогой, — здесь все как раньше. Машина проезжает под желобом, и мы оказываемся, одо-

лев крутой поворот, в фабричном городишке, размеченном аккуратными цветочными клумбами, а в центре фонтан восемнадцатого века с каменными дельфинами и херувимом, у которого нет части лица. Выглядит как имитация, но может быть и подлинником.

— Ого! — восклицает Анна. — Какой фонтанище.

— Это все фабрика построила, — говорю я.

— Проклятые ублюдки-капиталисты, — бросает Дэвид и снова принимается насвистывать.

Я говорю ему повернуть направо, и он поворачивает. Здесь должна быть дорога, но вместо нее перед нами побитый дорожный знак с шашками — ремонтные работы.

— Ну, что теперь? — спрашивает Дэвид.

Мы не взяли карту, поскольку я была уверена, что она нам не понадобится.

— Придется мне спросить, — говорю я.

Он выезжает задним ходом на главную улицу, и мы едем до лавки с журналами и сладостями на углу.

— Должно быть, вы про старую дорогу говорите, — произносит продавщица с едва уловимым акцентом. — Она закрыта уже много лет. Что вам нужно — так это новая дорога.

Я покупаю четыре рожка ванильного мороженого, потому что спрашивать, ничего не покупая, не полагается. Продавщица берет металлический совочек и сует руку в картонную бочку. Раньше мороженое привозили в больших брикетах, бумагу с них снимали как кору, выдавливая брусочки мороженого в рожки большим пальцем. Должно быть, такой способ устарел.

Я возвращаюсь в машину и объясняю Дэвиду, как ехать. Джо говорит, что ему больше нравится шоколадное.

Ничто не остается таким, как раньше, я уже не узнаю дорогу. Я облизываю мороженое по кругу, пытаясь больше ни о чем не думать, и отмечаю, что теперь в него добавляют морские водоросли, но я начинаю дрожать, видя, как изменилась дорога, — он не должен был позволять им такое — мне хочется развернуться и уехать назад в город, чтобы никогда не знать, что с ним случилось. Я расплачусь, это будет ужасно, никто не будет знать, что делать, даже я сама. Я вгрызаюсь в рожок и с минуту ничего не чувствую, кроме острой как нож боли сбоку лица.

Анестезия — это такой способ: если тебе больно, придумай другую боль. Я в порядке.

Дэвид доедает свой рожок, выбрасывает в окно

кончик, пахнущий картоном, и заводит машину. Мы едем через тот район городка, который возник уже после того, как я здесь была, мимо новеньких угловатых домов с верандами, как в большом городе, если не замечать розово-голубой, как ползунки младенцев, отделки, и нескольких длинных хибар дальше по дороге, с рубероидом и голыми досками на крышах. Кучка детей играет в жидкой грязи на месте газонов; почти на всех не по размеру большая одежда, отчего сами они кажутся маломерками.

— Они тут, наверно, все время трахаются, — говорит Анна. — Думаю, это церковь. — А потом вдруг добавляет: — Я ужасна, да?

— Истинный север, — бросает Дэвид, — могуч и свободен.

За домами двое темнолицых ребят постарше протягивают в нашу сторону консервные банки. Возможно, продают малину.

Мы доезжаем до бензозаправки, где продавщица сказала повернуть налево, и Дэвид радостно восклицает:

— О боже, смотрите!

И все высыпают из машины, как будто эта диковина исчезнет, если не поторопиться. Диковина — это три чучела лосей на площадке рядом с бен-

зоколонками. На лосях одежда, как у людей, и они стоят на задних лапах: папа-лось в полушинели и с трубкой во рту, мама-лосиха в ситцевом платье и шляпке с цветами и мальчик-лось в шортиках, полосатой футболке и бейсболке, машет американским флагом.

Мы с Анной идем за ребятами. Я спрашиваю у Дэвида:

— А бензин тебе совсем не нужен?

Нехорошо просто глазеть на лосей и ничего не покупать — они здесь, как и туалетные кабинки, для привлечения клиентов.

— О, смотрите, — говорит Анна, поднося руку ко рту, — там еще одна, на крыше.

Действительно, там девочка-лосиха в юбочке с оборками и в блондинистом парике с косичками, держит красный зонтик в одном копытце. Ее ребята тоже снимают на камеру. Владелец бензозаправки стоит в майке за пыльным стеклом витрины и хмуро смотрит на нас.

Когда мы возвращаемся в машину, я говорю, словно оправдываясь:

— До этого их тут не было.

Должно быть, мой голос прозвучал как-то странно, потому что Анна повернула ко мне голову и спросила:

— До чего?

Новая дорога заасфальтирована и идет прямо — две полосы с разделительной линией посередине. Она уже начинает обрастать памятными знаками: конструкции со световой рекламой, придорожное распятие с деревянным Христом с выпирающими ребрами — чужим богом, непостижимым для меня. Под ним пара консервных банок с букетиками из ромашек, лилового чертополоха и белых гипсофил, которые можно засушивать на память или для снадобий — должно быть, здесь была авария.

Время от времени мы пересекаем старую дорогу — грязную, с уймой кочек и ухабов, и петляющую как придется, то поднимаясь, то опускаясь по склонам холмов, обходя утесы и валуны. По ней когда-то носились на предельной скорости, отец семейства знал каждый дюйм дороги и мог одолеть ее (так он говорил) с закрытыми глазами, и часто казалось, что именно так они и ездили, грохоча мимо знаков с надписью «PETITE VITESSE»[2], перескакивая через подъемники, обтирая утесы — «GARDEZ LE DROIT»[3] — и вовсю сигналя;

[2] Примечания: 2
Сбавьте скорость (*фр.*).

[3] Примечания: 3
Держитесь правой стороны *(фр.*).

остальные члены семейства хватались за все, что могли, чувствуя, что их вот-вот стошнит, несмотря на ремень безопасности, пристегнутый мамой, и наконец они блевали на обочине, на голубые астры и розовый кипрей, если отец вовремя останавливался, или прямо из окошка на ходу, или в бумажные пакеты, которыми он предусмотрительно запасался, если спешил и категорически не собирался останавливаться.

Так не годится — я не могу говорить об этих людях как о какой-то чужой семье — нужно заставить себя говорить от первого лица. Все равно, увидев старую дорогу, вьющуюся в отдалении за деревьями (выбоины и следы колес уже едва различимы за травой и молодыми побегами, а скоро совсем скроются из вида), я невольно лезу в сумку за мятными пастилками. Но они мне больше не нужны, пусть асфальт новой дороги и сменяется гравием, («Наверное, выбрали не того парня последний раз», — усмехается Дэвид), а знакомый запах дорожной пыли, поднимающейся со всех сторон, смешивается с запахом бензина и обивки салона машины.

— Ты вроде говорила, это караул, — бросает Дэвид через плечо, — а тут ничего так.

Мы уже почти в деревне, там, где сходятся две

дороги, теперь расширенные — скала взорвана, деревья выкорчеваны, корни наружу, хвоя краснеет за плоским утесом, где написаны краской предвыборные лозунги, один поверх другого, одни — выцветшие и стершиеся, другие — совсем свежие, желтые и белые: «VOTEZ GODET, VOTEZ O'BRIEN»[4], а еще там сердечки, инициалы, всякие слова и реклама: САЛАТЫ ТМ, КОТТЕДЖИ «ГОЛУБАЯ ЛУНА» l/2 МИЛИ, QUEBÉC LIBRE[5],
ХУЙ ВАМ,
BUVEZ COCA COLA GLACÉ[6], ИИСУС СПАСАЕТ — мешанина требований на разных языках, если просветить это рентгеном, откроется вся местная история.

Но здесь явно какой-то подвох: мы приехали слишком быстро, и я чувствую, что меня лишили чего-то, как будто невозможно по-настоящему сюда попасть, если не помучаешься хорошенько; как будто первый вид на озеро — мы как раз видим его, печальное и суровое, как искупле-

---

[4] Примечания: 4
Голосуйте за Годе, Голосуйте за О'Брайена (*фр.*).

[5] Примечания: 5
Свободу Квебеку (*фр.*).

[6] Примечания: 6
Пейте кока-колу со льдом *(фр.)*.

ние, — должен открыться мне сквозь слезы и тошноту.

Глава вторая

Мы сползаем с последнего холма, гравий выскакивает из-под машины, и внезапно перед нами возникает то, чего не должно быть: «МОТЕЛЬ, БАР BIÈRE[7] ПИВО» значится на вывеске, причем с неоновой подсветкой — кто-то расстарался, но все без толку — рядом нет ни одной машины, зато, как сообщает табличка, «ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА». С виду типичный дешевый мотель, длинное серое оштукатуренное здание с алюминиевыми дверьми; земля вокруг комковатая и влажная, еще не заросшая сорняками.

— Давай немного затаримся, — обращается к Джо Дэвид.

Он съезжает с дороги, мы все выходим из машины и направляемся к двери, но я останавливаюсь — это лучшая возможность оторваться от них — и говорю:

— Вы идите, возьмите пива или еще чего-нибудь, а я подойду где-то через полчаса.

— Хорошо, — кивает Дэвид.

Он знает, когда лучше не спорить.

---

[7] Примечания: 7
Пиво *(фр.)*.

— Хочешь, побуду с тобой? — предлагает Джо.

Но, когда я отказываюсь, его облегчение буквально просвечивает сквозь бороду. Они трое исчезают за сетчатой дверью бара, а я спускаюсь с холма.

Мне нравятся эти ребята, я им доверяю, не припомню никого, кто бы нравился мне больше, но прямо сейчас мне хочется, чтобы их здесь не было. Хотя они нужны мне: без машины Дэвида и Анны я бы сюда ни за что не добралась — ни автобусы, ни поезда в эти края не ходят, а автостопом я не езжу. Ребята оказывают мне услугу под видом того, что им это по приколу, им нравится путешествовать. Но то, почему здесь я, смущает их, они этого не понимают. Они давно все решили со своими родителями, как и положено: Джо никогда не вспоминает ни мать, ни отца, Анна говорит, что ее родители ничтожества, а Дэвид называет своих свинтусами.

Когда-то здесь был крытый мост, но в этих местах, на севере, не берегут ничего такого. Его снесли за три года до того, как я уехала, — хотели улучшить плотину, и вместо него построили бетонный мост, громадный, монументальный, резко контрастирующий с обликом деревни. Плотина подчиняет себе озеро: шестьдесят лет назад

подняли уровень воды, чтобы в любое время можно было сплавлять лес по узкому речному устью на лесопилку. Но теперь здесь мало что сплавляют. Несколько человек работают на железной дороге, по которой проходит один товарняк за сутки; пара семей держит магазины: в том, что поменьше, раньше говорили по-английски, а в большем — нет. Остальные живут за счет туристов — бизнесменов в клетчатых рубашках, еще сохранивших замятины от целлофановых пакетов, — а их жены, если таковые есть, сидят на крылечках однокомнатных домиков, за сеткой от мошкары, и сетуют на жизнь, пока их мужья играют в карты на рыбалке.

Я останавливаюсь и склоняюсь через перила к реке. Ворота шлюза открыты, по бурым валунам шумно перекатываются пенистые буруны. Этот шум воды — одно из первых моих воспоминаний, он предупредил моих родителей. Была ночь, я лежала на дне лодки; они выдвинулись от деревни, но поднялся плотный, совершенно непроглядный туман, воду едва было видно. Они нашли береговую линию и поплыли вдоль нее; стояла мертвая тишина, и они услышали вой, который приняли за волчий, приглушенный лесом и туманом, — это значило, что они взяли нужный курс. Затем

зашумели речные пороги, и им стало ясно, где они, и тут же их понесло течение. Они двигались в обратную сторону, а выли деревенские собаки. Если бы лодка перевернулась, мы бы погибли, но родители не волновались, не поддавались страху; у меня в памяти засел этот белесый туман, плеск воды, плавное покачивание и ощущение полной безопасности.

Анна верно сказала: у меня было хорошее детство; оно пришлось на самый разгар войны, запечатленной на черно-белой кинохронике в помехах, которой я не видела: бомбы и концлагеря, вожди в военной форме, орущие что-то толпам, боль и напрасная смерть, флаги полощутся в такт гимнам. Но я узнала об этом только потом, когда мне рассказал брат. А в то время жизнь казалась мирной.

И вот теперь я вернулась в деревню, иду по ней, ожидая, когда меня захлестнет волна ностальгии, а горстка неприметных строений озарится внутренним светом, словно рождественский вертеп, как я часто представляла; но я не чувствую ничего такого. Деревня не стала больше, а детей, вероятно, вывезли на это время в город. Все те же двухэтажные каркасные дома с настурциями в окнах и ровными углами крыш, между которыми

протянуты веревки с бельем, словно воздушные змеи; хотя какие-то дома подновили и перекрасили. Белая церквушка на скалистом склоне холма стоит бесхозной, краска шелушится, окно разбито — старого священника, должно быть, не стало. В смысле, он умер.

Вдоль берега у государственной пристани пришвартовано много лодок, но машин особо не видно: лодок больше, чем машин, — плохой сезон. Я пытаюсь понять, которая из этих машин — моего отца, но понимаю, что уже не знаю, какая у него может быть машина.

Я дохожу до поворота к дому Поля, здесь грязно, дорога изрыта колесами, она идет через рельсы и дальше, через заболоченное поле; там, где особенно мокро, лежат бревна. Несколько мошек вьются вокруг — июль месяц, — сезон спаривания уже позади, но, как обычно, кто-то запаздывает.

Дорога забирает в гору, и я карабкаюсь по ней по задворкам домов, построенных Полем для своего сына, и зятя, и еще одного сына — у него тут целый клан. Дом Поля — образец для остальных: желтый с каштановой отделкой, приземистый фермерский дом; хотя земля здесь для сельского хозяйства неподходящая, слишком каменистая, а если есть какая-то почва, в ней полно песка.

Вознамерившись стать настоящим фермером, Поль завел корову, но молоко в бутылках решило ее судьбу. Навес, под которым когда-то она жила с лошадьми, теперь переделан в гараж.

За домом стоят две машины 1950-х годов без колес, розовая и красная, поднятые на деревянные чурбаки; вокруг валяются ржавые детали еще более старых машин: как и мой отец, Поль копит всякую всячину. Над домом пристроено что-то вроде церковного шпиля, сделанного из деталей от машин, сваренных вместе; на шпиле крепится телеантенна, а на ней — громоотвод.

Поль у себя, ковыряется на грядках возле дома. Он выпрямляется, заметив меня, лицо у него жесткое и, как всегда, непроницаемое, словно закрытый саквояж; я не думаю, что он узнал меня.

— Bonjour monsieur[8], — говорю я, подходя к забору.

Он делает шаг в мою сторону, и вид у него все еще настороженный.

— Вы меня не помните? — я улыбаюсь. — Вы были так добры, что написали мне.

И снова меня словно что-то давит, сжимает горло; но Поль говорит по-английски, он бывал

---

[8] Примечания: 8
Добрый день, месье *(фр.)*.

за границей.

— А, — кивает он, не узнавая меня, но догадываясь, кем я могу быть. — Bonjour.

Он улыбается мне и сцепляет руки перед собой как священник или фарфоровый китайский болванчик, но больше ничего не говорит. Мы стоим на месте, по разные стороны забора, наши лица застыли в выражении доброжелательности, изогнутые губы охвачены скобками щек, и наконец я спрашиваю:

— Он вернулся?

Тогда его подбородок опускается, а голова покачивается из стороны в сторону.

— А… Нет.

Он бросает взгляды по сторонам, укоризненные, и смотрит себе под ноги, на картофельный куст у левого ботинка. Затем вскидывает голову и весело говорит:

— Еще нет, ай? Но, может, скоро. Тфой отец, он знает глухомань.

В дверях кухни появляется мадам, и Поль переходит на французский, обращаясь к ней, гнусавя и картавя, так что я его не понимаю, потому что ничего не помню, кроме общих фраз из школьного курса. Еще, может, народные песни и рождественские гимны. В старших классах я

учила отрывки из Расина и Бодлера, но здесь мне это не поможет.

— Ты должна зайти, — говорит он мне, — и принять чай.

Он наклоняется и открывает щеколду на деревянных воротах. Я захожу и направляюсь к крыльцу, где меня ждет мадам, протягивая руки в порыве радушия, улыбаясь и скорбно качая головой, словно оплакивая меня как невинно обреченную.

Мадам кипятит чай на новой электрической плите, над которой висит голубая керамическая Богоматерь с розовым младенцем; взглянув на плиту по пути через кухню, я увидела в этом некое предательство — раз вы живете в деревне, живите по-деревенски.

Мы сидим бок о бок на крыльце, обтянутом сеткой, и глядим на озеро, держа на коленях чашки с чаем и покачиваясь в креслах-качалках; мне дали запасную подушку, на которой вышит Ниагарский водопад. У нас в ногах лежит на плетеном коврике черная с белым колли, точь-в-точь как та, что нагоняла страх на меня в детстве, а может, это ее потомок.

Мадам, у которой нет ни груди, ни талии, одета в длинное платье, черные чулки и фартук с пе-

редником, на Поле брюки с высокой талией на подтяжках и фланелевая рубашка с закатанными рукавами. Меня напрягает их поразительное сходство с резными фигурками канадских французов, которые продаются в сувенирных магазинах, но все, конечно, наоборот — это фигурки похожи на них. Мне интересно, на кого, по их мнению, похожа я, — они могут посчитать странными или даже аморальными мои джинсы, трикотажную рубашку и жеваную наплечную сумку, хотя подобные вещи могли стать вполне привычными в деревне благодаря туристам и телевизору; к тому же мне можно сделать скидку, поскольку мою семью всегда считали странной, и не только потому, что мы anglais[9].

Я поднимаю чашку, они пристально смотрят на меня: я обязательно должна сказать что-то про чай.

— Très bon[10], — произношу я, обращаясь к мадам. — Délicieux[11].

Меня охватывает сомнение: вдруг *чай* у фран-

---

[9] Примечания: 9
Англичане *(фр.)*.

[10] Примечания: 10
Очень хорош *(фр.)*.

[11] Примечания: 11
Восхитительный *(фр.)*.

цузов женского рода?

Я вдруг вспоминаю, как нашей маме приходилось наносить визиты мадам, когда отец ходил к Полю. Отец с Полем оставались снаружи, обсуждая лодки, или моторы, или лесные пожары, или одну из своих экспедиций, а моя мама и мадам сидели в доме в креслах-качалках (у мамы в кресле была подушка с Ниагарским водопадом), отчаянно пытаясь вести светскую беседу. Ни одна из них не знала больше пяти слов на чужом языке, и после первых бонжуров обе бессознательно повышали голоса, словно разговаривали с глухими.

— Il fait beau[12], — выкрикивала моя мама, причем в любую погоду, а мадам натянуто улыбалась и говорила:

— Pardon? Ah, il fait *beau*, oui, il fait beau, bon oui[13].

Добившись ясности по первому вопросу, они принимались старательно думать, раскачиваясь в креслах, что бы еще сказать.

— Как ваши *тела*? — кричала мадам.

И мама, расшифровав вопрос, отвечала:

---

[12] Примечания: 12
Хорошая погода *(фр.)*.

[13] Примечания: 13
Простите? А, хорошая *погода*, да, хорошая погода, ну да *(фр.)*.

– *В* порядке, *дела* в порядке. — Затем она спрашивала то же самое: — А как *ваши* дела, мадам?

Но мадам не находила, что ответить, и обе они, продолжая улыбаться, украдкой поглядывали в окно с сеткой в ожидании мужчин, которые могли бы выручить их.

Мой отец тем временем давал Полю капусту или стручковую фасоль со своего огорода, а Поль, в свою очередь, одаривал его своими помидорами или латуком. Учитывая, что они выращивали на огородах одно и то же, этот овощной бартер выполнял чисто ритуальную функцию: после него мы понимали, что визит официально окончен.

Теперь мадам помешивает чай и вздыхает. Она что-то говорит Полю, и он обращается ко мне:

— Твоя мать, она была хорошей женщиной, мадам говорит, это очень грустно; и тоже молодая.

— Да, — произношу я.

Мама и мадам были примерно ровесницами, но никто бы не назвал мадам молодой; впрочем, моя мама никогда не была такой толстой, как мадам.

Я навещала маму в больнице, куда она согласилась лечь, только когда уже не могла ходить; мне сказал это один из врачей. Должно быть, она скрывала боль несколько недель, убеждая отца, что у нее просто болит голова, это было на нее

похоже. Она терпеть не могла больниц и врачей; вероятно, боялась, что они станут проводить над ней опыты, поддерживая в ней жизнь до последнего с помощью трубок и иголок, пусть даже все это не даст шансов на выздоровление — больные всегда это понимают; так врачи в итоге и сделали.

Они стали колоть ей морфин, она говорила, что у нее рябит в глазах. Она очень похудела и выглядела ужасно постаревшей, ее крючковатый нос стал похож на клюв, готовый порвать кожу, скрюченные руки на простыне напоминали птичьи лапы, ищущие жердь. Она пристально смотрела на меня ясными и пустыми глазами. Не уверена, что она узнавала меня: она не спрашивала, почему я ушла из дома или где была все это время, хотя она бы в любом случае вряд ли стала спрашивать меня об этом, поскольку всегда считала, что задавать столь личные вопросы — бестактно.

— Я не пойду на твои похороны, — сказала я.

Мне пришлось низко наклониться к ней — она слышала только одним ухом. Я хотела, чтобы она знала это заранее и поняла меня.

— Мне они никогда не нравились, — сказала она, делая паузы между словами. — Нужно но-

сить шляпу. Алкоголь я не люблю.

Должно быть, она говорила о церкви или вечеринках с коктейлями. Она подняла руку, медленно, как под водой, и коснулась своей макушки; там, где топорщился пучок белых волос.

— Я не взяла радио. Там идет снег?

Я увидела на прикроватном столике, рядом с цветами, хризантемами, ее дневник; она вела дневник каждый год. Все, о чем она писала, это погода или дела, которыми занималась в тот или иной день: ни размышлений, ни ощущений. Она сверялась со своими дневниками, когда хотела сравнить годы, решить, была весна поздней или ранней, было ли лето сырым. Меня взяла злоба при виде дневника в этой комнате без окон, где от него не было никакой пользы; я подождала, пока ее глаза закроются, и засунула дневник в свою наплечную сумку. Выйдя из больницы, я пролистала его — думала, там могло быть что-то обо мне, но страницы оказались чистыми, не считая дат, которые она проставила несколько месяцев назад.

— Поступай, как считаешь правильным, — сказала она, не открывая глаз. — На улице снег?

…Мы все сидим и качаемся на веранде. Мне хочется спросить Поля об отце, но это он должен

начать разговор, поделиться со мной новостями. Может, он не хочет этого; а может, деликатничает, ждет, когда я буду готова. Наконец я спрашиваю:

— Что с ним случилось?

Поль пожимает плечами.

— Просто пропал, — отвечает он. — Я иду к нему как-то раз повидать, дверь открыта, лодки на место, я думать, может, он отошел где-нибудь рядом, и я жду немного. На следующий день я снова иду, все то же самое, Эль начинать волноваться, где он, я не знаю. Так что я пишу тебе, он оставил твой caisse postale[14] и ключи, я закрываю его место. Его машина, она тут, со мной.

Он указывает за спину, в сторону гаража. Мой отец доверял Полю, говорил, что Поль может построить или починить что угодно. Как-то раз их настигла трехнедельная буря с дождем, и отец сказал, что, если вы с кем-то можете провести три недели в сырой палатке и не убить друг друга, значит, это хороший человек. Поль олицетворял для него идеал простой жизни; но для Поля такая жизнь была суровой необходимостью.

— Вы смотрели на острове? — спрашиваю я. —

---

[14] Примечания: 14
Почтовый ящик *(фр.)*.

Если лодки на месте, он не мог покинуть остров.

— Я смотрю, конечно, — говорит Поль. — Я говорю полиции дальше по дороге, они смотрят кругом, никто ничего находят. Твой муж тоже здесь?

Вопрос прозвучал неожиданно.

— Да, он здесь, — говорю я.

Эта ложь выскочила непроизвольно. Поль имел в виду, что такими вещами должен заниматься мужчина. Джо сгодится в качестве дублера. Мое семейное положение все осложняет — эти люди, видимо, считают, что я замужем. Но я спокойна на этот счет, у меня кольцо, я его никогда не выбрасывала, оно помогает при общении с домохозяйками. После свадьбы я послала родителям открытку, и они должны были рассказать об этом Полю; о разводе они ему явно не говорили. Здесь не в ходу такое слово, как развод, и не стоит огорчать их.

Я жду, когда мадам спросит меня о ребенке, я к этому готова, пусть спрашивает — скажу, что оставила его в городе; это будет чистой правдой, только речь о другом городе, в котором живет мой муж, бывший муж, и ребенку лучше с ним.

Но мадам не касается этой темы, она берет еще кусочек сахара с подноса рядом с ней, и перед мо-

им мысленным взором вдруг возникает бывший муж, в каком-то кафе, не городском, а придорожном, по пути куда-то или откуда-то, к какой-то цели или встрече. Он отдирает от сахара бумажку с рекламой и бросает ее в чашку, я что-то говорю, и его губы снисходительно кривятся — должно быть, все это было еще до появления ребенка. Он улыбается, и я тоже, думая о кружочке соленого огурца, приставшем сверху к его клубному сэндвичу. Круглая памятная дощечка на стене супермаркета или автостоянки, отмечающая место, где когда-то стояло здание, в котором произошло малозначительное событие, — просто смешно. Он накрывает мою руку своей, он часто так делает, но от него легко избавиться, и чем дальше, тем легче. У меня нет на него времени, я переключаюсь на другие проблемы.

Отпиваю чай и покачиваюсь, у меня в ногах потягивается собака, озеро за окном покрывается рябью от разгулявшегося ветра. Мой отец просто-напросто исчез, растворился. Когда я получила письмо Поля — «Ваш отец пропал, никто не может найти его», — мне с трудом верилось в такое, но это оказалось правдой.

Раньше на стене веранды висел барометр в виде деревянного домика с двумя дверцами, за

которыми были мужчина и женщина. Перед ясной погодой из своей дверцы показывалась женщина в длинном платье с передником, а перед дождем она скрывалась в домике, и вместо нее появлялся мужчина с топором. Когда мне первый раз объяснили что к чему, я решила, эти человечки управляют погодой, а не реагируют на нее. Мои глаза выискивают домик, мне нужно предсказание, но барометра нигде нет.

— Думаю спуститься к озеру, — говорю я.

Поль поднимает руки ладонями наружу.

— Мы смотрим уже два, три раза.

Но они наверняка что-то упустили, я чувствую, что сама все увижу другими глазами. Возможно, когда мы придем туда, отец уже вернется, где бы он ни пропадал, и будет сидеть в хижине, ожидая нас.

Глава третья

По пути обратно к мотелю я делаю крюк к берегу, где должны говорить по-английски: нам понадобятся какие-то продукты. Я поднимаюсь по деревянным ступенькам, мимо дремлющей лохматой дворняги, привязанной к перилам обрывком бечевки. Ручка сетчатой двери магазина украшена эмблемой сигарет «Черный кот»; я открываю дверь, и меня окутывают запахи магазина: слабый сладковатый аромат сдобы в картонных коробках и прохладительных напитков из холодильника. Недолгое время здесь находилась почта — на стене висит табличка «DEFENSE DE CRACHER SUR LE PLANCHER»[15] со штампом с гербовой печатью.

За кассой стоит женщина примерно моих лет, но под ее одеждой явно есть бюстгальтер, у нее светло-русые усики; волосы с бигуди затянуты розовой сеткой, и еще на ней свободные брюки и вязаная безрукавка. Старый священник определенно умер, он не одобрял женщин в брюках, только в длинных бесформенных юбках и тем-

---

[15] Примечания: 15
Плевать на пол запрещено *(фр.)*.

ных чулках, и требовал, чтобы они не оголяли рук в церкви. Шорты были вне закона, и многие из этих женщин проводили всю свою жизнь рядом с озером, так и не научившись плавать, потому что стыдились надевать купальник.

Женщина за кассой смотрит на меня, изучающе и без улыбки, и двое мужчин за стойкой с прическами под Элвиса — утиная гузка с затылка и лоснящийся кок надо лбом — прерывают разговор и тоже смотрят на меня, не убирая локтей со стойки. Я мнусь: может, порядки изменились и здесь больше не говорят по-английски.

— Avez-vous du viande hâche?[16] — спрашиваю я кассиршу, краснея от своего произношения.

Она ухмыляется, как и двое мужчин, но они смотрят не в мою сторону, а друг на друга. Я понимаю, что сглупила — нужно было притвориться американкой.

— Амбургеры? — уточняет кассирша. — О, да, масса. *Хотите?*

Она произносит «хотите» с небрежной легкостью, не оглушая первый слог, давая мне понять, что может говорить на правильном английском, если хочет. Они живут вблизи границы.

---

[16] Примечания: 16
У вас есть рубленое мясо? *(фр.)*

— Один фунт, — прошу я. — Нет, два фунта.

И краснею еще больше, поскольку меня слишком легко раскусили, и теперь они потешаются надо мной, а я даже не могу показать им, что понимаю комичность ситуации. Кроме того, я с ними согласна: если живешь в другой стране, говори на местном языке. Но я здесь не живу.

Кассирша берет тесак, отрубает кусок замороженного мяса и взвешивает.

— Опатьки, — говорит она, передразнивая мой школьный выговор.

Двое мужчин хихикают. Я утешаю себя тем, что вспоминаю человека из правительства, который был на открытии выставки ремесленных поделок: настенные драпировки из бисера, тканые коврики, каменные наборы посуды; Джо решил пойти туда, чтобы потом повозмущаться, что его работы не приняли. Этот человек был, похоже, атташе по культурным связям, а может, послом; я спросила его, знает ли он регион страны, где я выросла, и он покачал головой и сказал: «Des barbares, они не цивилизованы»[17]. Тогда это меня задело.

Я беру баллончик спрея против насекомых для

---

[17] Примечания: 17
Варвары *(фр.)*.

ребят, несколько яиц и бекон, хлеб и масло, какие-то консервы. Все здесь дороже, чем в городе; больше никто не держит ни кур, ни коров, ни свиней — все это ввозится из более плодородных областей. Хлеб упакован в вощеную бумагу, tranché[18].

Мне хочется выйти оттуда задом наперед, чтобы никто не пялился мне в спину; но я заставляю себя выйти по-человечески, причем медленно.

Раньше в деревне был только один магазин. Он располагался в передней части жилого дома, и им управляла старуха, которую тоже называли мадам: в те времена у женщин не было имен. Мадам продавала нам дешевые леденцы цвета хаки, которые нам запрещали есть, но главное, что возвышало ее в наших глазах, — это то, что у нее была только одна рука. Другая рука оканчивалась мягкой розовой культей, наподобие слоновьего хобота, и мадам умела рвать нить на свертках, обмотав ее вокруг культи и потянув. Эта рука, лишенная кисти, составляла для меня большую тайну, почти такую же невероятную, как Иисус. Мне хотелось знать, каким образом она лишилась руки (возможно, она сама отрезала

---

[18] Примечания: 18
В нарезке *(фр.)*.

ее) и где теперь эта рука, а главное, могла ли моя рука когда-нибудь стать такой; но я никогда не спрашивала мадам ни о чем подобном, поскольку боялась возможных ответов. Спускаясь по ступенькам, я пытаюсь вспомнить о ней что-нибудь помимо ее руки: какой она была, каким было ее лицо, — но вижу только внушающие трепет леденцы, недоступные в своем стеклянном реликварии, и ее руку, наделенную неведомой чудодейственной силой, подобно пальцам святых или частицам мощей первых мучеников, таким, как глаза на блюде, отрезанные груди, сердце с буквами на нем, сияющими как гирлянда сквозь аккуратную дыру в груди — всем этим образам из альбома по искусству.

Я нахожу остальных в маленькой зябкой комнате с табличкой «БАР»; кроме них, там никого. На оранжевом пластиковом столике перед ними шесть бутылок пива и четыре стакана. С ними сидит рябой парень с такой же прической, как у тех двоих в магазине, только он блондин.

Дэвид, увидев меня, машет рукой: он чему-то радуется.

— Возьми пива, — говорит он. — Это Клод, его отец владеет этой пивнушкой.

Клод встает с угрюмым видом и бредет за пи-

вом для меня. Под барной стойкой красуется грубо вырезанная деревянная рыба с красными и синими пятнами, вероятно, намекающими на пятнистую форель; покатая рыбья спина упирается в стойку из фальшивого мрамора. Над баром телевизор, выключенный или неисправный, и непременная картинка в позолоченной лепной рамке: увеличенная фотография ручья с деревьями, стремнинами и с одиноким рыбаком. Все это скорее имитация других мест, более южных, также имитирующих смутные воспоминания об охотничьем домике английского джентльмена девятнадцатого века, с трофейными головами и мебелью, отделанной оленьими рогами, — у королевы Виктории имелся такой. Но если это приносит прибыль, почему бы нет?

— Клод нам сказал, бизнес не катит в этом году, — сообщает Дэвид. — Это оттого, что прошел слух, будто рыба в озере повывелась. Мужики уходят на другие озера, батя Клода возит их на своем гидроплане — скажи, четко? Но он говорит, кое-кто выходил весной с неводом и наловил там множество всякой рыбины, нехилых размеров, просто рыба теперь шибко умная.

Дэвид переходит на провинциальный говор; он просто прикалывается, пародируя себя са-

мого — он рассказывал нам, что говорил так в пятидесятые, когда хотел стать священником и продавал Библии, расхаживая по домам, чтобы продержаться в духовной семинарии: «Эй, леди, хочешь купить скабрезную книжку?» Хотя, похоже, сейчас он это делает неосознанно, или, может, для Клода, желая показать ему, что он тоже выходец из народа. А может, он упражняется в искусстве общения, которое преподает на вечерних курсах там же, где работает Джо; это образовательные курсы для взрослых. Дэвид их называет оборзевательными курсами; он получил эту работу благодаря тому, что одно время был диктором на радио.

— Есть новости? — спрашивает Джо бесцветным голосом, давая понять, что предпочел бы, чтобы я воздержалась от любых эмоций, что бы там ни случилось.

— Нет, — говорю я, — ничего нового.

Голос ровный, спокойный. Пожалуй, это и понравилось ему во мне, видимо, было что-то такое, хотя я не могу восстановить в памяти сцену нашего знакомства — нет, могу: это произошло в магазине, я покупала новые кисточки и спрей для фиксации. Он спросил, живу ли я здесь, и мы пошли на угол за кофе, только я взяла «Севен ап».

Что впечатлило его в тот раз — он даже сказал мне потом об этом (добавив, что я крутая), — так это то, как я снимала и потом надевала одежду — очень плавно, словно не испытывала никаких эмоций. Но я действительно ничего не испытывала.

Клод возвращается с пивом, я говорю «спасибо» и поднимаю на него глаза, и тогда его лицо разглаживается и меняется — когда я видела его в прошлый раз, ему было лет восемь; он продавал червей в ржавых консервных банках рыбакам у государственной пристани. Теперь ему не по себе — он понял, что я узнала его.

— Я бы хотела спуститься к озеру на пару дней, — говорю я, обращаясь к Дэвиду, потому что машина его. — Посмотреть там, если можно.

— Отлично, — кивает Дэвид. — Я собираюсь выловить одну из этих умных рыбин.

Он взял с собой удочку, одолженную у кого-то, хотя я его предупреждала, что случай попробовать ее в деле может и не представиться: если бы мой отец все-таки объявился, мы бы уехали обратно, не дав ему знать, что были здесь. Если он в порядке, я не хочу его видеть. В этом нет смысла, ведь меня так и не простили, родители не поняли моего развода; я даже не думаю, что они поняли,

почему я вышла замуж, и это было неудивительно, поскольку я сама себя не понимала. Но их определенно огорчило то, насколько внезапно я это сделала, а затем убежала, оставив мужа и ребенка, будто сошедших с цветных снимков глянцевых журналов. Оставить своего ребенка — подобный грех не искупить, и бесполезно пытаться объяснить, почему он не был на самом деле моим. Но я признаю, что поступила глупо, а глупость — то же самое, что зло, если судить по результатам, и у меня не было никаких оправданий, у меня с этим всегда было туго. Другое дело мой брат — он готовил их заранее, до того как что-то натворит; это разумно.

— О боже, — говорит Анна. — Дэвид думает, он великий белый охотник.

Она его дразнит, и довольно часто; но он не слышит, он встает, и Клод отводит его в сторону, чтобы выписать разрешение на рыбалку — похоже, Клод заведует разрешениями. Когда Дэвид возвращается, мне хочется спросить, сколько он заплатил, но он такой довольный, что я не хочу портить ему настроение. Клод тоже доволен.

Мы узнаем от Клода, что можем нанять Эванса, владельца кабинок «Голубая луна», чтобы он отвез нас на озеро. Поль отвез бы нас бесплатно,

он мне предлагал, но мне было бы не по себе; кроме того, я уверена, ему бы не понравилась бесформенная борода Джо, а также усы и волосы Дэвида в духе «трех мушкетеров». Это просто стиль, вроде армейской стрижки, но Поль мог увидеть в этом что-то опасное, призыв к мятежу.

Дэвид съезжает с дороги и движется по двум колеям с каменным бордюром по центру, скребущим по дну машины. Мы тормозим перед кабинкой с табличкой «АДМИНИСТРАЦИЯ»; Эванс на месте, это здоровый немногословный американец в клетчатой рубашке, фуражке и плотной вязаной куртке с орлом на спине. Он знает, где рыбачил мой отец, все пожилые проводники знают каждую хижину на озере. Он передвигает недокуренную сигарету в угол рта и говорит, что отвезет нас туда за пять долларов — это десять миль; еще за пять он заберет нас обратно через два дня, утром. Тогда у нас еще будет время, чтобы доехать до города. Он, конечно, слышал об исчезновении, но молчит об этом.

— Матерый мужик, да? — говорит Дэвид, когда мы выходим.

Он радуется жизни, думая, что вот она, реальность: теневая экономика и местные старожилы с проседью в волосах, словно живые иллюстра-

ции к эссе о Великой депрессии. Он прожил четыре года в Нью-Йорке и увлекся политикой, он учился на кого-то; это было в шестидесятые, точнее сказать не могу. Прошлое моих друзей для меня окутано туманом, как и для них самих — у каждого из нас могли быть провалы в памяти по несколько лет, и никто на это не обращал внимания.

Дэвид подогнал машину к пристани, и мы выгрузили вещи — рюкзаки с одеждой, камеру с оснащением, чемодан «Самсонит», в котором была вся моя карьера, полдюжины бутылок «Ред кэпс» из мотеля и бумажный пакет с едой. Мы забираемся в лодку, потертый деревянный баркас; Эванс заводит мотор, и мы медленно отчаливаем. То и дело на глаза попадаются летние домики, словно грибы; должно быть, вдоль мощеной дороги.

Дэвид сидит впереди, рядом с Эвансом.

— Рыбные тут места? — спрашивает он, по-простому, по-свойски, втираясь в доверие.

— Где как, где как, — говорит Эванс, никуда не показывая.

Затем он переключает мотор на высокую передачу, и я их больше не слышу.

Я жду, пока мы окажемся на середине озера. В

нужный момент оглядываюсь, как всегда делаю, и вижу деревню, внезапно такую далекую и ясную: дома уменьшаются и жмутся друг к дружке, белая церковь выделяется на фоне темных деревьев. Ко мне приходит чувство, которого я тщетно ожидала раньше, — тоска по дому, по месту, где никогда не жила, — я теперь достаточно далеко; и вот деревня словно сжимается, превращаясь в мыс, мы огибаем его, и он исчезает вдали.

Мы втроем на заднем сиденье, Анна рядом со мной.

— Это хорошо, — говорит она мне пронзительным голосом, стараясь перекричать рев двигателя, — хорошо, что мы выбрались из города.

Но когда я поворачиваюсь к ней, чтобы ответить, то вижу слезы у нее на щеке и не могу понять, в чем дело, ведь она такая хохотушка. Потом до меня доходит, что это не слезы, а первые капли дождя. Наши плащи в рюкзаках; я не заметила, как наползли тучи. Хотя вымокнуть нам не грозит — на лодке мы будем на месте через полчаса; раньше, на более тяжелых лодках с моторами послабее, дорога занимала два-три часа, в зависимости от ветра. В городе люди спрашивали у мамы: «Вы не боитесь? Вдруг что-то случится?» Они прикидывали, сколько времени потребуется,

чтобы попасть к врачу в случае чего.

Я мерзну и передергиваю плечами; мне на кожу падают капли. Береговая линия расходится и снова сходится; в сорока милях отсюда другая деревня, а между ними ничего, кроме запутанного лабиринта: низкие холмы, извилисто выступающие из воды, ветвящиеся бухты, полуострова, переходящие в острова, перешейки, ведущие к другим озерам. На карте или аэрофотоснимке водный массив раскидывается во все стороны словно паук, но из лодки видна лишь малая его часть, внутри которой ты находишься.

Озеро коварно, погода то и дело меняется, ветер быстро крепчает; люди тонут каждый год: перегруженные лодки или пьяные рыбаки, влетающие на полном ходу в топляки, полусгнившие старые коряги, напитавшиеся водой и почти не выступающие над поверхностью. Их немало остается после лесосплава, особенно с тех пор, как подняли уровень воды. Из-за изгибов береговой линии легко сбиться с пути, если ты не запомнил ориентиры, и я высматриваю их: бочкообразный холм, мыс с мертвой сосной, пеньки от спиленных деревьев, торчащие на мелководье. Я не доверяю Эвансу.

Но пока он плывет правильно, мы приближа-

емся к моей территории: два коротких поворота, пролив между гранитными берегами, а дальше в бухту пошире. Полуостров остался на прежнем месте, выдаваясь от основного берега, а дома совсем не видно из-за деревьев, хотя я знаю, что он там; мой отец всегда был мастером камуфляжа.

Эванс обходит вокруг мыса и замедляется перед мостками. Мостки покосились — каждую зиму лед что-то от них забирает, а вода наносит ил и точит дерево; мостки много раз чинили, как только могли, но это те же мостки, с которых упал мой брат и чуть не утонул.

Его держали в загоне из проволочной сетки, который соорудил отец, — по сути, это была большая клетка, или небольшой вольер: с деревцами, качелями, валунами, песочницей. Ограда была достаточно высокой, и брат не мог перелезть через нее, но там имелась калитка, и однажды он научился открывать ее. Мама была одна в доме; она выглянула из окна, проверяя, как он там, и не увидела его. День был тихий, ветер не шумел, и она услышала плеск воды. Она побежала к мосткам, но там никого не было, тогда она дошла до края и посмотрела вниз. Мой брат был под водой, лицом вверх, с открытыми глазами и без сознания; он плавно уходил под воду, выпуская

пузыри изо рта.

Это случилось до моего рождения, но я помню все так отчетливо, словно видела сама, и, возможно, так оно и было: я верю, что младенец находится в животе матери с открытыми глазами и может видеть сквозь кожу, как лягушка сквозь стекло банки.

Глава четвертая

Мы разгружаем багаж, пока Эванс держит мотор на холостом ходу. Получив деньги от Дэвида, он равнодушно кивает нам и отчаливает, затем разворачивает лодку и огибает мыс, оглашая окрестности гудением, переходящим в жужжание и стихающим вдали по мере того, как нас разделяет все больше холмов. Озеро накатывает на берег, волны уходят в песок, оставляя тонкую переливчатую пленку бензина, лилово-розово-зеленую. Здесь все тихо, ветер улегся, и озеро спокойное, серебристо-белое, впервые за весь день (и за долгое время, за много лет) мы не слышим шума моторов. Мои уши и тело покалывает после вибрации, как ступни после катания на роликах.

Остальные бесцельно стоят; они как будто ждут, что я им скажу, как действовать дальше.

— Мы отнесем вещи наверх, — говорю я.

И предупреждаю всех насчет мостков: они скользкие от дождя, пусть даже еле моросящего; кроме того, какие-то доски могли размокнуть и стать ненадежными.

Мне хочется закричать: «Привет!» Или: «Мы

здесь!» Но я этого не делаю, не хочу услышать тишину в ответ.

Беру рюкзак, прохожу по мосткам, спускаюсь на землю и иду по тропинке в сторону хижины, а потом поднимаюсь по ступенькам на склоне холма, сделанным из кедровых досок, закрепленных с каждой стороны колышками. Дом построен на песчаном холме, представляющем собой часть горного кряжа, оставшегося после схода ледников; все держится на нескольких дюймах почвы и тонком растительном покрове. Со стороны озера выступает и постепенно осыпается сырой песок: камни и уголь из печи, которой пользовались родители, когда начали жить здесь в палатках, уже давно исчезли, и деревья, растущие на краю, постепенно валятся — несколько из тех, что я помнила прямыми, уже наклонились. У красных сосен отслаивается кора, иголки на верхних ветках торчат пучками. На одной из них сидит зимородок, издавая отрывистый тревожный крик; птицы гнездятся на скалах, зарываясь в песок, что ускоряет эрозию.

Перед домом все еще стоит забор из проволочной сетки, хотя один конец почти свешивается с краю. Родители так и не стали разбирать его; даже маленькие качели на месте, веревки изно-

сились от влаги и покрылись пятнами. Это было непохоже на родителей — оставлять что-то, не имеющее практической пользы; возможно, они ожидали, что к ним будут приезжать внуки. Отец хотел бы иметь семейный клан, как у Поля, с домами вокруг и отпрысками, продолжающими его род. Этот забор как упрек мне, он напоминает о моем провале.

Но я не могла привезти сюда ребенка, я никогда не считала его своим; я даже не давала ему имени, пока он не родился, хотя так делают почти все беременные. Это был ребенок моего мужа, он навязал его мне; все время, пока ребенок рос во мне, я чувствовала себя суррогатной матерью. Муж тщательно следил за моим питанием, сам кормил меня, он хотел получить в итоге некое подобие себя; когда я родила, то перестала быть нужной ему. Но доказать этого я не могла — он был хитер: все время говорил, что любит меня.

Дом стал меньше, потому что (я догадалась) деревья вокруг выросли. И еще он посерел за прошедшие девять лет, словно поседел. Кедровые бревна стоят вертикально, а не лежат, стоячие бревна короче, с ними легче управиться одному человеку. Кедр не лучшее дерево, оно быстро ветшает. Как-то раз отец сказал: «Я строил это не

на века». И я тогда подумала: «Но почему? Почему не на века»?

Я надеюсь, что дверь будет открыта, но она закрыта на висячий замок, как и сказал Поль. Порывшись в сумке, достаю ключи, которые он дал мне, и осторожно подхожу к двери: что бы я ни нашла внутри, это даст какую-то подсказку. Вдруг отец вернулся после того, как Поль запер дом, и не смог войти? Но есть и другие способы забраться в дом, он мог бы разбить окно.

Джо и Дэвид уже рядом, с рюкзаками и пивом. Последней идет Анна с моим чемоданом и бумажной сумкой; она снова напевает, теперь это «Холм пересмешника».

Я открываю деревянную дверь, потом сетчатую за ней и внимательно осматриваю комнату, прежде чем войти. Я вижу стол, покрытый голубой клеенкой, скамейку, еще одну скамейку, точнее, деревянный ящик, приделанный к стене, диван-кровать на металлическом каркасе с тонким матрасом. На этой кровати проводила дни мама: целыми днями она неподвижно лежала, укрывшись коричневым пледом, в осунувшемся лице ни кровинки. Мы говорили шепотом, она сильно изменилась и не слышала, когда мы обращались к ней; но на следующий день она

вставала как ни в чем не бывало. Мы привыкли верить, что у нее хватит сил справиться с любой напастью; мы перестали воспринимать ее болезни всерьез, они были просто естественными фазами жизни, вроде окукливания. Когда она умерла, я в ней разочаровалась.

Все на месте. Капли воды с деревьев падают на пол.

Ребята заходят за мной в дом.

— Это здесь ты жила? — спрашивает Джо.

Обычно он не задает личных вопросов; не могу понять его настрой в отношении дома. Он подходит к снегоступам на стене, снимает один и вертит в руках.

Анна кладет провизию на столешницу и обхватывает плечи руками.

— Наверное, это была полная шиза, — говорит она. — Жить вот так, от всего отрезанной.

— Нет, — возражаю я.

Для меня это было нормальным.

— Кто к чему привык, — говорит Дэвид. — По-моему, тут четко.

Но он не уверен.

В доме еще две комнаты, и я быстро открываю двери. В каждой кровать, полки, одежда на гвоздях: куртки, плащи — они всегда висели там.

Серая шляпа, у отца было таких несколько. В комнате справа к стене приколота карта местности. В другой комнате на стене какие-то рисунки, акварели — я вдруг вспоминаю, что сама нарисовала их, когда мне было лет двенадцать или тринадцать; я не помнила о них все это время, и это единственное, что меня тревожит.

Иду назад в гостиную. Дэвид положил рюкзак на пол и развалился на диване.

— Боже, как я устал, — говорит он. — Кто-нибудь, подайте пива.

Анна приносит ему банку, и он хлопает ее по заднице со словами:

— Вот что мне нравится — сервис.

Она достает банки себе и нам с Джо, мы садимся на скамейки и пьем. Теперь, когда мы перестали двигаться, чувствуется, как здесь прохладно.

Привычный запах: кедр и дровяная печь, и деготь из пакли, забитой между бревнами, от мышей. Я поднимаю взгляд на потолок, на полки: за лампой стопка бумаг; возможно, отец работал над чем-то до того, как случилось то, что случилось, и он ушел. Там могло быть что-то для меня: записка, письмо, завещание. Я ждала чего-то подобного после смерти матери — какого-то послания, не денег, а чего-то символического. Какое-то время

я проверяла почтовый ящик по два раза в день — я дала родителям только мой почтовый адрес; но ничего не пришло — возможно, она просто не успела.

Ни грязной посуды, ни разбросанной одежды, ничего такого. Совсем непохоже на дом, в котором прожили всю зиму.

— Который час? — спрашиваю я Дэвида.

Он смотрит на часы: почти пять. За ужин отвечаю я, поскольку это в каком-то смысле мой дом, а они мои гости.

В ящике за печкой сложена растопка, есть несколько поленьев белой березы; до этих мест болезнь еще не добралась. Нахожу спички и сажусь перед печкой — я едва помню, как разжигать ее, и трачу три или четыре спички, прежде чем занимается пламя.

Снимаю с крючка эмалированную миску и беру большой нож. Ребята смотрят на меня, но никто не спрашивает, куда я направляюсь, хотя Джо, похоже, обеспокоен. Наверное, он ожидал от меня истерики, и мое спокойствие напрягает его.

— Я в огород, — говорю я, чтобы подбодрить их.

Где огород, они знают — видели на подходе, с озера.

На тропинке и перед калиткой разрослась трава; сорняки не пололи месяц. В другое время я провела бы несколько часов, выдергивая их, но сейчас в этом нет смысла — мы пробудем здесь только два дня.

Из-под ног у меня выпрыгивают лягушки, им здесь хорошо — близко к озеру, сыро; мои парусиновые туфли насквозь промокли. Я срезаю несколько листьев салата, он не цвел и горчит, затем выдергиваю лук и снимаю верхнюю коричневую шелуху, открывая белую, похожую на глаз луковицу.

Огород изменился — раньше по забору с одной стороны тянулась красная фасоль. Ее цветы были самыми красными в огороде, к ним подлетали колибри, зависая в воздухе, крылья так и трепетали. Если побег не трогать слишком долго, он желтел после первых заморозков и лопался. Внутри были зернышки, лилово-черные, внушавшие мне страх. Я знала, что если бы нарвала их и оставила у себя, то стала бы всесильной; но потом, когда достаточно подросла и смогла наконец дотянуться до них, это не сработало. Может, потому, что я не представляла, что мне делать с этой силой; если бы я стала такой же, как другие люди, наделенные властью, то принесла бы в мир зло.

Я перехожу на морковную грядку и выдергиваю морковь, но ее не прореживали как следует, и она хвостатая и коренастая. Я срезаю перья лука, морковную ботву и бросаю в компостную кучу, затем складываю все в миску и иду назад к калитке, мысленно отматывая время. В середине июня отец точно был здесь, он не мог уйти раньше.

У забора меня ждет Анна.

— Где туалет? — спрашивает она. — Я сейчас лопну.

Вывожу ее к началу тропинки и показываю направление.

— Ты в порядке? — спрашивает она.

— Конечно, — отвечаю я; вопрос удивляет меня.

— Мне жаль, что его здесь нет, — говорит она скорбно, пристально глядя на меня своими круглыми зелеными глазами, словно это ее беда, ее несчастье.

— Все в порядке, — успокаиваю ее я, — просто иди по тропе и увидишь, хотя идти неблизко. — Я смеюсь. — Не потеряйся.

Иду с миской к мосткам и мою овощи в озере. Я вижу в воде пиявку, хорошую, с красными точками на спине, извивающуюся, словно лента на ветру. У плохих пиявок серые и желтые точки.

Эти оценочные критерии придумал мой брат, когда в какой-то момент помешался на морали, должно быть из-за войны. Все должно было делиться на хорошее и плохое.

Я готовлю гамбургеры, и мы едим их, потом я мою посуду в битом тазу, а Анна вытирает; уже почти сумерки. Я достаю постельное белье из-под скамейки у стены и стелю нам с Джо, а Анна им с Дэвидом. Он, должно быть, спал все это время на диване в гостиной.

Им непривычно ложиться в постель, как только стемнеет, и я тоже отвыкла от этого. Боюсь, что они станут скучать без телевизора и всякого такого, и ищу, чем бы их развлечь. Домино, колода карт — вот все, что лежало под свернутыми одеялами. На полках в спальнях много книг в бумажных обложках — в основном детективы и легкое чтиво. Помимо этого учебники по ботанике и всякие справочники: «Съедобные растения и побеги», «Рыбачим на сухую мушку», «Шампиньоны обыкновенные», «Строительство бревенчатого дома», «Справочник птиц», «Возможности вашей камеры». Отец считал, что, имея хорошие пособия, можно все сделать самостоятельно. Была у него и подборка серьезных книг: «Библия короля Иакова», которую он ценил, по

его словам, за литературные достоинства, полное собрание сочинений Роберта Бернса, «Жизнь» Босуэлла, «Времена года» Томпсона, избранные стихи Голдсмита и Купера. Он восхищался ими — рационалистами восемнадцатого века, как он говорил: для него они были людьми, избежавшими пороков промышленной революции и постигшими секрет золотой середины, гармоничной жизни, — отец был уверен, что все они вели натуральное хозяйство. Я была шокирована, когда узнала намного позже — вообще-то, мне сказал муж, — что Бернс был алкоголиком, Купер сумасшедшим, Доктор Джонсон страдал маниакально-депрессивным психозом, а Голдсмит вообще был нищебродом. И с Томпсоном тоже было что-то не так; муж использовал понятие «эскапист». После этого я прониклась к ним большей симпатией — они перестали быть непререкаемыми авторитетами для меня.

— Зажгу лампу, — говорю я, — и мы сможем читать.

Но Дэвид возражает:

— Не-е-е, зачем читать, когда ты можешь делать это в городе?

Он крутит ручку приемника, но ничего не может поймать — сплошной треск и вой помех,

похожий на музыку, наплывающую волнами, и комариный голосок, шепчущий по-французски.

— Черт, — говорит он, — хотел бы я знать, кто кого.

Это он про бейсбол — он фанат.

— Можем поиграть в бридж, — предлагаю я, но никто не хочет.

Потом Дэвид говорит:

— Ну, дети, пора преломить траву.

Он открывает свой рюкзак и шарит там, и Анна замечает:

— Что за дурацкое место — туда смотрят в первую очередь.

— Нет, на попку твою, — говорит Дэвид, улыбаясь ей, — в первую очередь. Легавые такие формы не пропустят. Не волнуйся, детка, я знаю, что делаю.

— Иногда я сомневаюсь, — бросает Анна.

Мы выходим из дома, идем к мосткам и потом сидим на сыром дереве, глядя на закат и покуривая. Облака на западе желто-серые, бледнеющие, а в чистом небе на юго-востоке восходит луна.

— Просто класс, — говорит Дэвид. — Лучше, чем в городе. Если бы мы только выпихнули фашистских свиней янки и капиталистов, в стране стало бы четко. Но тогда кто бы остался?

— О боже, — стонет Анна, — не начинай это.

— Как? — спрашиваю я. — Как бы ты их выпихнул?

— Организовать бобров[19], — говорит Дэвид, — пусть перегрызут их, по-другому никак. Идет такой биржевой брокер янки по центру Торонто, и его облепляют бобры, сигают на него с телефонной будки, хрум-хрум — и готово. Слышали о новейшем национальном флаге? Девять бобров ссут на лягушку[20].

Шутка бородатая и грубая, но я все равно смеюсь. Немного пива, немного травки, немного шуток, немного трепа о политике — золотая середина; мы новая буржуазия, а мостки можно считать комнатой отдыха. Все равно я рада, что они со мной, мне бы не хотелось быть здесь одной; в любой момент на меня может накатить чувство утраты, пустоты — они это отводят от меня.

— Вы сознаете, — не унимается Дэвид, — что эта страна стоит на трупах животных? Убитых рыбах, убитых тюленях и убитых в рекордном количестве бобрах: бобр для этой страны — то же самое, что черные для Соединенных Штатов.

---

[19] Примечания: 19

Бобр на американском сленге — работяга, пахарь.

[20] Примечания: 20

Лягушка на американском сленге — обыватель или француз.

Более того, в Нью-Йорке это теперь ругательство — бобер. Думаю, это говорит о многом.

Он садится и злобно смотрит на меня в полутьме.

— Мы не твои студенты, — говорит Анна. — Лежи спокойно.

Его голова покоится у нее на коленях, она гладит его по лбу, я вижу, как движется туда-сюда ее рука. Они женаты девять лет — мне сказала Анна, — они должны были пожениться примерно в то же время, что и я; но она старше меня. У них должен быть какой-то особый метод, секрет, какое-то знание, которого мне недоставало; или я просто вышла не за того. Я думала, все получится само собой, без всяких усилий с моей стороны, я просто стану половинкой целого, мы превратимся в пару, будем дополнять и уравновешивать друг друга, как деревянные фигурки мужчины и женщины в домике-барометре у Поля. Первое время нам было хорошо, но он изменился, когда я вышла за него, когда он женился на мне — когда мы закрепили это юридически. Я до сих пор не понимаю, почему подпись на бумажке должна что-то значить, но он стал ожидать чего-то от меня, что должно было нравиться ему. Нам следовало просто спать вместе и не рассчитывать

на большее.

Джо кладет руку мне на плечи, я прикасаюсь к его пальцам. Мне вспоминается черно-белый буксир, ходивший по озеру (или это была плоская баржа?), медленно увлекая за собой бревна к плотине. Я махала этим людям всякий раз, как мы проплывали мимо в нашей лодке, и мне махали в ответ. На буксире (или барже) был домик, пригодный для житья, с окошками и печной трубой над крышей. Я считала, что такая жизнь самая лучшая — в плавучем домике, в котором есть все, что тебе нужно, и люди, которые тебе нравятся; захочешь перебраться куда-нибудь — запросто.

Джо раскачивается вперед-назад и по сторонам — это может значить, что он счастлив. Ветер снова поднимается, обвевает нас то теплыми, то прохладными струями, за спиной у нас шелестят деревья, тревожа воздух; вода отсвечивает льдистым светом, превращая в осколки отсвет мутно-голубой луны. Я слышу крик гагары, и каждый волосок у меня на теле поднимается; со всех сторон раздается эхо, окружая нас — здесь отовсюду раздается эхо.

Глава пятая

Меня будит птичье пение. Еще не рассвело, в городе в такое время даже машины не ездят, но я привыкла спать, не замечая этого. Раньше я различала звуки всего живого; я вслушиваюсь, но уши отвыкли от этих звуков, и теперь я слышу неразборчивую мешанину. Птицы поют ради того же, ради чего гудят грузовики, — они заявляют права на свою территорию, — это рудиментарный язык. Лингвистика — вот что мне следовало изучать вместо искусства.

Джо тоже почти проснулся и что-то мычит, обернув голову простыней как платком. Он стащил простыни с ног, оголив тонкие ступни с пальцами, сиротливо торчащими в разные стороны, они напоминают картошку, проросшую в сумке. Мне интересно, вспомнит ли он, как разбудил меня ночью, сев со словами: «Где это мы?» Он делает так всякий раз, как мы спим на новом месте. Я ответила: «Все в порядке, я здесь», — а он сказал: «Кто? Кто?» — он был словно пьяный, но все же послушался и лег обратно. Я боюсь прикасаться к нему, когда он такой, чтобы он не принял меня за вражеского солдата из своих кошмаров;

но он начинает доверять моему голосу.

Я рассматриваю открытую часть его лица, веко и край носа — кожа бледная, словно он жил в подвале, а мы действительно жили в подвале; борода темно-бурая, почти черная, она переходит на шею и сливается под простыней с порослью на его спине. Спина у него более волосатая, чем у большинства мужчин — теплая шкура, почти как у медведя, хотя, когда я сказала ему об этом, он вроде бы решил, что я унижаю его достоинство.

Я пытаюсь решить, люблю я его или нет. Это в принципе не имеет значения, но всегда наступает момент, когда любопытство становится важнее спокойствия и ты задаешь себе этот вопрос; но он пока не спрашивал меня об этом. Лучше решить для себя заранее: будешь ты юлить или пойдешь напролом и скажешь правду, тогда тебя, по крайней мере, не застигнут врасплох. Я прикидываю все за и против, раздумывая о Джо: он хорош в постели, лучше, чем мой бывший; иногда он хандрит, но ко мне не придирается, мы платим за жилье пополам, и он немногословен, что мне нравится. Когда он предложил жить вместе, я сразу согласилась. Это даже было не сознательным решением, а чем-то вроде покупки золотой рыбки или кактуса в горшке — не потому, что

тебе этого действительно хотелось, а просто ты заходишь в магазин и видишь, как они стоят на полке и смотрят на тебя. Я его ценю, мне с ним лучше, чем без него; хотя было бы неплохо, если бы он значил для меня больше. И еще с ним я не грущу — и ни с кем после мужа не грустила. Развод — это как ампутация: ты выживаешь, но чувствуешь, что тебя урезали.

Я лежу какое-то время с открытыми глазами. Раньше это была моя комната; Анна и Дэвид в комнате с картой, а в этой мои рисунки. Красотки в экзотических костюмах, на лоб спадают колбаски куделей, красные губы бантиком и ресницы, как зубная щетка: когда мне было десять, я была в восторге от гламура, для меня это была своеобразная религия, и это были мои иконы. Их руки и ноги застыли в эффектных позах, одна рука в перчатке на бедре, одна ступня выставлена вперед. Туфли похожи на копытца, каблуки под прямым углом один к другому, коралловые платья без бретелек, как у Риты Хейворт, с балетными юбочками в точках, означавших блестки. Я тогда рисовала не очень хорошо, пропорции слегка искажены, шеи слишком короткие, а плечи широченные. Должно быть, я имитировала бумажных кукол, которых видела в городе, картонных кинозвезд

— Джейн Пауэлл, Эстер Уильямс — с раздельными купальниками, прикрывающими их тела, и вырезанными стандартными пижамами и кружевным бельем. Такие куклы покупали маленьким девочкам в серых кофточках и белых блузках, с искусственными косичками, пришпиленными к их головкам розовыми пластиковыми заколками, и они делали с ними что хотели: приносили в школу и играли на переменках, елозя по потертой кирпичной стене, ставя ногами в снег, надевая бумажные одежки на ледяном ветру, придумывая для них танцы и вечеринки, торжества с нескончаемой сменой платьев — рабство удовольствий.

Под картинками, в ногах кровати, на гвозде висит серая кожаная куртка. Грязноватая, кожа потрескалась и облупилась. Я не сразу узнаю куртку — ее давным-давно носила мама и держала в карманах семечки. Я думала, она ее выбросит; ей здесь теперь не место, отец должен был избавиться от нее после похорон. Одежду умерших нужно хоронить вместе с ними.

Я поворачиваюсь на другой бок и отжимаю Джо дальше к стене, чтобы устроиться поудобнее.

Когда через какое-то время я пробуждаюсь, Джо уже не спит, он вылез из-под простыни.

— Ты разговаривал во сне, — говорю я ему.

Иногда я думаю, что он больше разговаривает во сне, чем наяву.

Он уклончиво что-то мычит.

— Есть хочу, — говорит он, а потом спрашивает: — Что я говорил?

— Как обычно. Спрашивал, где ты и кто я.

Мне бы хотелось побольше узнать о его сне; раньше и мне снились сны, но больше не снятся.

— Ну, значит, ничего нового, — говорит он. — Это все?

Я отбрасываю простыню и опускаю ноги на пол, преодолевая себя: даже в середине лета ночи здесь холодные. Я быстро одеваюсь и иду топить печь. Анна уже в общей комнате, все еще в нейлоновой ночнушке без рукавов и босиком, она стоит перед тусклым желтоватым зеркалом. На столешнице перед ней раскрытая пудреница — она наносит макияж. Я понимаю, что впервые вижу ее ненакрашенной; без румян и подведенных глаз ее лицо непривычно помятое, лицо потрепанной куклы; ее искусственное лицо и есть настоящее. Руки у нее с тыльной стороны в мурашках.

— Здесь тебе это не нужно, — говорю я. — Никто тут на тебя не смотрит.

Фраза моей мамы, сказанная мне однажды, когда мне было четырнадцать лет; она в смятении смотрела, как я крашу губы помадой красно-оранжевого цвета. Я сказала ей, что просто решила попробовать.

Анна тихо отвечает:

— Я ему не нравлюсь без этого. — И добавляет, противореча себе: — Он не знает, что я крашусь.

Я задумываюсь об этом ухищрении (или преклонении?): ей приходится каждое утро выскальзывать из постели, пока он не проснулся, а перед сном ложиться в постель без света? Может, Дэвид просто льстит ей; но она так хорошо накладывает макияж, что он может и не заметить.

Пока греется печка, я выхожу из дома: сперва в нужник, затем обратно к озеру, сполоснуть руки и лицо, и к леднику, сделанному из металлического мусорного контейнера, вкопанного в землю, с плотно закрывающейся от енотов дверцей, придавленной тяжелыми досками. Когда раз в год приезжали охотинспекторы на полицейском катере, они не могли поверить, что у нас нет морозильника для браконьерской рыбы, и повсюду его искали.

Я достаю яйца; бекон лежит в сетчатом ящике под домом, с вентиляцией, мухам и мышам туда

не добраться. В доме поселенцев здесь был бы погреб и коптильня; мой отец всегда импровизировал, избегая стандартного подхода.

Вношу продукты в дом и готовлю завтрак. Джо и Дэвид уже встали: Джо сидит на скамейке у стены, лицо еще заспанное, а Дэвид изучает в зеркале подбородок.

— Могу нагреть воду, если хочешь побриться, — предлагаю я, но он усмехается мне, глядя в зеркало, и качает головой.

— Не-е-е, — говорит он, — я собираюсь отпустить бородку.

— Даже не думай, — возражает Анна. — Мне не нравится, когда он меня целует с бородой — похоже на манду. — Она вскидывает ладонь к губам, словно и сама шокирована. — Ужас, да?

— Похабное словечко, женщина, — говорит Дэвид. — Она бескультурна и вульгарна.

— Да я не спорю. Всегда такой была.

Это такое спонтанное представление для нас с Джо, но Джо все еще витает в облаках, где проводит большую часть времени, а я жарю бекон, стоя у плиты, и не смотрю, так что они быстро прекращают.

Сажусь на корточки перед печкой и открываю дверцу топки, чтобы поджарить хлеб над

углями. Теперь уже нет грязных слов, они потеряли силу и вошли в повседневный обиход; но я помню охватившее меня чувство недоумения, ошарашенности, когда выяснила, что существует некоторое количество грязных слов, а остальные — чистые. Во французском плохие слова связаны с религией — в любом языке самые страшные слова связаны с тем, что больше всего пугает людей, — в английском это тело, которое внушало даже больший страх, чем бог. Можно даже сказать «господи боже» от злости или отвращения. Я узнала о религии так, как большинство детей узнают о сексе, не в подворотне, а в кирпично-бетонном школьном дворе, в зимние учебные месяцы. Школьницы собирались группами, держась за руки в варежках и перешептываясь. Они ужасно напугали меня, сказав, что на небе сидит мертвец и смотрит за всем, что я делаю, а я отплатила им тем, что объяснила, откуда берутся дети. Матери некоторых девочек стали звонить моей и жаловаться, хотя, думаю, я была сильнее травмирована, чем они: они мне не поверили, а я поверила им.

Хлеб поджарился; бекон тоже готов — я выкладываю все на тарелку и сливаю жир в огонь, отводя руку от взметнувшегося пламени.

После завтрака Дэвид интересуется:

— Что на повестке?

Я говорю им, что хотела бы обыскать тропу длиной полмили вблизи берега; отец мог пойти по ней за деревом. Была еще одна тропа, шедшая в обратную сторону почти до самого болота, но это была тропа моего брата, секретная тропа, и она наверняка давно заросла.

Отец не мог покинуть остров: обе лодки в сарае, а алюминиевая моторка привязана цепью к дереву рядом с мостками; топливные баки пусты.

— В любом случае, — говорю я, — он может быть только в двух местах: на острове или в озере.

Но разум мне подсказывает: кто-нибудь мог подобрать его и отвезти в деревню на другой стороне озера — это был бы идеальный способ исчезнуть; возможно, он вовсе не жил здесь зимой.

Но возможно и другое: нет ничего необычного в том, чтобы пропасть в глухом лесу — такое случается каждый год раз по десять. Достаточно лишь маленькой ошибки — уйти слишком далеко от дома зимой, попасть в метель или подвернуть ногу, так что не сможешь идти, и весной тебя прикончит мошкара, заберется под одежду, искусает до крови, и ты за день сойдешь с ума. Но я не могу поверить в такое — отец слишком хорошо

знал эти места и был очень осторожен.

Я даю Дэвиду мачете — не представляю, в каком состоянии окажется тропа — возможно, нам придется прорубать заросли, чтобы идти вперед; Джо несет тесак. Прежде чем выйти, я опрыскиваю им и себе запястья и лодыжки спреем от насекомых. Когда-то от бесчисленных комариных укусов у меня выработался иммунитет, но потом пропал: на ногах и теле у меня несколько зудящих розовых отметин с прошлой ночи. Звуки любви на севере — поцелуй, шлепок.

Все небо в низких тучах; легкий ветер с юго-востока, позже может пойти или пройти мимо дождь, погоду здесь так же трудно предсказать, как найти нефть. Мы проходим между огородом и озером, по шею в траве с дикой малиной, мимо кострища и компостной кучи. Нужно было выкопать мусор и посмотреть, насколько он старый; есть также яма, где сжигались расплющенные консервные банки — их тоже можно выкопать. Поиск отца как решение археологической задачи.

Мы на тропе через лес; начало довольно свободное, но то и дело встречаются гигантские пни, ровные, спиленные пилой, останки деревьев, росших здесь до того, как сюда пришли люди.

Больше деревьям никогда не дадут так вырасти, их срубают, как только они достигнут приличной высоты, большие деревья теперь так же редки, как киты.

Лес густеет, и я высматриваю зарубки на стволах, еще различимые спустя четырнадцать лет; такие деревья нарастили шишки вокруг порезов, рубцовую ткань.

Мы начинаем подъем в гору, и мне снова вспоминается бывший муж, вспыхивая этаким картинным образом, которые он мастер принимать: кристально ясное изображение, ограниченное глухой стеной. Он пишет на заборе свои инициалы, изысканным каллиграфическим почерком, показывая мне, как надо — он, кроме прочего, преподавал шрифтовой дизайн. На заборе есть и другие инициалы, но свои он делает больше — это его метка. Я не могу вспомнить время или место, помню, это было в городе, еще до женитьбы; я льну к нему сзади, восхищаясь тем, как зимний свет падает на его скулу и резко очерченный нос, благородный и скошенный, как на римских профилях; в то время все, что он делал, было идеально. Его рука в кожаной перчатке. Он говорил, что любит меня, это магическое слово, которое должно все озарять, — я больше никогда

не поверю в его силу.

Моя злость в отношении бывшего мужа удивляет меня: ведь именно я была тем, кого называют виновной стороной, я ушла от него, тогда как он ничего подобного не делал. Он хотел ребенка, это нормально, хотел, чтобы мы поженились.

Утром, пока мы мыли посуду, я решила задать вопрос Анне. Она вытирала тарелку, вполголоса напевая куплеты «Большой карамельной скалы».

— Как это у вас получается? — спросила я.

Она перестала напевать.

— Что получается?

— Семейная жизнь. Как вы все это поддерживаете?

Она окинула меня взглядом, словно желая убедиться, не шучу ли я.

— Мы рассказываем много анекдотов.

— Нет, правда, — не отступала я.

Если имелся какой-то секретный способ, я хотела его знать.

И тогда она принялась рассказывать мне, или не именно мне, а невидимому микрофону у себя над головой — люди говорят как радио, когда дают советы. Она сказала, что просто нужна эмоциональная чуткость, вроде того, как когда

ходишь на лыжах: нельзя знать наперед, что тебя ждет, но нужно уметь отпускать ситуацию. «Что отпускать?» — хотелось мне спросить; я примерялась к тому, что она говорила. Может, потому я и не справилась — просто не знала, что отпускать. Мне все это напоминало не лыжную прогулку, а, скорее, прыжок со скалы. Такое чувство меня преследовало постоянно, когда я была замужем: я в воздухе, лечу вниз, ожидая удара о землю.

— А почему не вышло у тебя? — спросила Анна.

— Не знаю, — сказала я. — Наверное, была слишком молодой.

Она сочувственно кивнула:

— Что ж, тебе повезло, что нет детей.

— Да, — произнесла я.

Анна бездетна; иначе она бы так не сказала. Я никогда не говорила ей о ребенке; и Джо не говорила — ни к чему. Сам он об этом не узнает — у меня ни в ящике стола, ни в бумажнике нет фотографий с ребенком (глазеющим из колыбели, или из окна, или через прутья манежа), на которые Джо мог бы наткнуться и испытать потрясение, возмущение или обиду. Мне нужно вести себя так, как будто этого ребенка не существует, поскольку для меня это так и есть, его у

меня забрали, вывезли, депортировали. Часть моей жизни отрезали от меня, словно сиамского близнеца, отняли мою собственную плоть. Я провалилась, не справилась. Мне нужно все забыть.

Тропа теперь вьется по возвышенности, где из земли выступают валуны, принесенные и брошенные ледниками, поросшие мхом и папоротниками — это из-за влажного климата. Я смотрю на землю и вспоминаю разные названия: грушанка, дикая мята, индейский огурец, — когда-то я могла назвать каждое растение, которое можно как-то использовать или съесть. Я выучивала наизусть руководства по технике выживания — «Как выжить в глухом лесу», «Тропы и следы животных», «Лес зимой» — в том возрасте, когда мои городские ровесницы читали журнал «Настоящая любовь»: только тогда я смогла осознать, что человек действительно может сбиться с пути. Вспоминаются правила: всегда бери спички — и не умрешь с голоду, в метель выкапывай нору, сторонись неизвестных грибов, самое важное — это руки и ноги: если они замерзнут, тебе конец. Пустое знание; попсовые журналы с их поучительными историями о девушках, поддавшихся соблазну и наказанных ребенком-дауном, переломом позвоночника, смертью матери или тем,

что их мужчину увела лучшая подруга, были бы более практичны.

Тропа ныряет вниз и идет через болото, по краю бухты — здесь туи и камыши, ирисы и тина. Я иду медленно, высматривая следы. Не видно ничего, кроме оленьих следов, никаких следов человека: очевидно, Поль и поисковая бригада сюда не забирались. Нас учуяли комары и кружат над нами; Джо ругается тихо, Дэвид — во весь голос, и, наконец, я слышу, как Анна шлепает себя.

Мы отклоняемся от берега и попадаем в джунгли: через тропу протянулись ветви, орешник и клен, чахлые деревца. Через пару футов ничего не видно — стволы и листва образуют непролазный плетень: зеленый, зелено-серый, серо-бурый. Ни одна ветка не срезана и не сломана — если отец здесь и был, он чудесным образом обошел это место, а не двигался напролом. Я отхожу в сторону, и Дэвид прорубает путь мачете, не очень успешно; он не столько режет, сколько колошматит.

Мы подходим к дереву, упавшему поперек тропы. Оно потянуло за собой несколько молодых вьюнков: они лежат, плотно переплетенные, — завал.

— Не думаю, что кто-нибудь заходил сюда, —

говорю я.

— Железно, — соглашается Джо.

Он явно раздражен. Я всматриваюсь в лес, пытаясь разглядеть, нет ли там другой тропы, обходящей бурелом, но ничего не вижу; или я так взвинчена, что вижу слишком много и каждый просвет между деревьями напоминает тропу.

Дэвид тычет мачете в мертвый ствол, дырявя кору. Джо садится на землю: он тяжело дышит — слишком долго прожил в городе, — и его облепили насекомые, он чешет шею и руки с тыльной стороны.

— Пожалуй, хватит, — говорю я, ведь это мне положено признать поражение.

Анна откликается:

— Слава богу, а то меня уже зажрали.

Мы поворачиваем обратно. Отец, конечно, мог быть где-то здесь, но я убедилась в бессмысленности затеи найти его на острове длиной в две мили. Для этого потребовалось бы двадцать, а то и тридцать человек, рассредоточенных на равных расстояниях и движущихся через лес напрямую, и даже тогда его могли бы не заметить, мертвого или живого, жертву несчастного случая, самоубийства или убийства. А если по какой-либо неведомой причине он решил уйти от всех и

скрывается в этих местах, его никогда не найдут: здесь нет ничего проще, чем дать поисковикам пройти мимо, а потом незаметно следовать за ними, останавливаясь одновременно с ними, не упуская их из виду, чтобы, куда бы они ни повернули, всегда быть у них за спиной. Я бы поступила так.

Мы идем сквозь зеленый свет, звук шагов приглушается влажной прелой листвой. Тропа теперь меняет очертания: я в конце пути. Через каждые несколько шагов я смотрю по сторонам, напряженно вглядываясь, осматривая землю в надежде обнаружить любые следы присутствия человека: пуговицу, гильзу, клочок бумаги.

Отец будто играет со мной в прятки, как когда-то; в сумеречном лесу, после ужина, совсем не то, что в доме — столько кругом укромных мест. Даже если мы с братом знали, за какое дерево он спрятался, все равно боялись позвать его — вдруг из-за дерева выйдет кто-то другой.

Глава шестая

Никто больше не скажет, что я чего-то не сделала. Я везде проверила, я старалась, и теперь чувствую, что сбросила бремя. Я бы должна докладывать в какие-то инстанции, заполнять какие-то бланки, добиваться, как положено, помощи аварийно-спасательной службы. Но это как искать кольцо, потерянное на пляже или в снегу, — безнадежно. Мне не остается ничего, кроме как ждать; завтра Эванс отвезет нас в деревню, а оттуда мы вернемся в город и в реальность. Я закончила то, ради чего приехала, и не хочу оставаться здесь, хочу вернуться туда, где есть электричество и развлечения. Я успела привязаться ко всему этому, и теперь мне требуется приложить усилия, чтобы заполнить чем-то время.

Другие пытаются занять себя. Джо и Дэвид вышли на реку в одной из лодок; мне следовало убедить их надеть спасательные жилеты, ведь они не умеют управлять лодкой, бестолково машут веслами из стороны в сторону. Я вижу их из переднего окна, а из бокового — Анну, частично скрытую деревьями. Она лежит на животе

в бикини и солнечных очках, читая какой-то триллер, хотя ей наверняка холодно: небо слегка расчистилось, но, когда на солнце наползают тучи, жара отступает.

Если не считать бикини и цвета волос, Анна могла быть шестнадцатилетней мной, когда я выходила, испытывая приступ хандры, на мостки, недовольная тем, что нахожусь так далеко от города и моего парня, которого завела, чтобы доказать свою нормальность; я носила его кольцо, которое было мне велико, на цепочке на шее, словно распятие или армейскую фенечку. Джо и Дэвид, когда расстояние размыло их лица и сделало незаметной неуклюжесть, могли сойти за моих брата и отца. Мне же доставалась роль моей матери; проблема в том, что я не знаю, чем она занималась в течение дня, между готовкой обеда и ужина. Иногда она брала хлебные крошки или семечки и шла к кормушке, где ждала соек, тихо стоя за деревом, или дергала сорняки в огороде; но в какие-то дни она просто исчезала, уходила в лес одна. Невозможно быть как моя мать — для этого понадобилось бы искривление времени; она словно отстала от всех на десять тысяч лет или опередила на полвека.

Я причесываюсь перед зеркалом, тяну время;

затем возвращаюсь к работе, поскольку срок сдачи уже подступает; я неожиданно сделала карьеру, к чему совершенно не стремилась, но мне нужно было делать что-то, чтобы зарабатывать. Я еще не освоилась с этим, я не знаю, как одеться на переговоры: я чувствую себя скованно, как в аквалангe или с лишним, искусственным органом. Но у моей профессии есть название, классификация, и это помогает: я отношусь к категории художников-дизайнеров, или, при более амбициозных заказах, иллюстраторов. Я занимаюсь плакатами, обложками, немного рекламой и оформлением журналов и изредка, как сейчас, оформлением книг. Какое-то время я собиралась стать настоящим художником; однако муж считал, что это приятное, но ненадежное занятие, и советовал мне изучать что-то такое, что я смогу применить в жизни, поскольку на свете еще не было значительных женщин-художников. Это было до того, как мы поженились, и я к нему еще прислушивалась, так что ушла в дизайн и стала делать узоры на ткани. Но он был прав насчет женщин-художников.

Сейчас я оформляю пятую книгу в своей жизни; первая была руководством по трудоустройству для Департамента занятости: молодые люди с

дебильными улыбками, излучающие восторг от своих дутых должностей: компьютерный программист, сварщик, секретарь, техник-лаборант. Девять рисунков и несколько графиков. Остальные книги были для детей, и в их числе перевод «Квебекских народных сказок». Я слабо в этом разбираюсь, но мне нужны были деньги. Я получила машинописный экземпляр три недели назад и до сих пор не сделала ни одной иллюстрации целиком. Обычно я работаю быстрее.

Сказки оказались не такими, как я ожидала; они напоминают немецкие сказки, за вычетом раскаленных железных туфель и бочек с гвоздями. Мне интересно, кто проявляет такое сострадание к читателям: авторы, переводчик или издатель; вероятно, это мистер Персивал, издатель, он предусмотрительный человек и старается избегать всего, что «вызывает беспокойство». У нас с ним вышел спор по этому поводу: он сказал, что один из моих рисунков слишком страшный, а я возразила, что детям нравится пугаться. «Книги покупают не дети, — сказал он, — а их родители». Мне пришлось пойти на компромисс; теперь я иду на компромиссы до того, как принимаюсь за работу — это экономит время. Я усвоила, какие иллюстрации он хочет: изящные и стилизован-

ные, яркие, как торты. Я могу рисовать такие, могу имитировать что угодно: Уолта Диснея, викторианскую гравюру сепией, баварские пирожки, поддельные эскимо для местного рынка. Но больше всего издателям нравится то, что, по их мнению, вызовет также интерес английских и американских издателей.

В одном стакане чистая вода, в другом — кисти; акварель и акрил в металлических тюбиках. Рядом с моим локтем ползает синяя муха, брюшко поблескивает, язычок прохаживается по клеенке как седьмая нога. Когда шел дождь, мы сидели за этим столом и рисовали в альбомах мелками или цветными карандашами все, что хотели. Но в школе приходилось рисовать то, что рисовали все.

На вершине холма людям на диво
Посадил Господь Кленовое Древо

Эти строчки, повторенные тридцать пять раз, были растянуты поверх доски, и к каждой странице был приклеен засушенный кленовый лист, разглаженный между листами вощеной бумаги.

Я делаю набросок принцессы привычного вида, с тоненькой модельной талией и инфантильным личиком, наподобие тех, что я рисовала для

«Любимых волшебных сказок». Помню, они меня раздражали, поскольку в них ничего не говорилось о самых важных вещах, например, о том, чем они питались, имелась ли ванная комната у них в башнях и темницах, словно эти принцессы состояли из чистого воздуха. Питер Пэн поражал меня не тем, что умел летать, а отсутствием нужника рядом с его подземным жилищем.

Моя принцесса закинула головку — она смотрит вверх на птицу, поднимающуюся из огненного гнезда, раскрыв крылья как на геральдическом щите или эмблеме службы страхования от огня: «Сказка о Золотом Фениксе». Птица должна быть желтой, и огонь тоже может быть только желтым — издатель экономит на красках, так что мне нельзя использовать красный; по той же причине я не могу использовать оранжевый и лиловый. Я бы предпочла красный вместо желтого, но мистер Персивал захотел «спокойный тон».

Я смотрю на принцессу и думаю, что она выглядит, скорее, ошарашенной, нежели изумленной. Отбрасываю этот рисунок и начинаю новый, но на этот раз она выходит косоглазой, и одна грудь у нее больше другой. У меня сводит пальцы — может, начинается артрит?

Я снова пробегаю глазами сказку в поисках

другой выразительной сцены, но не вижу ничего подходящего. С трудом верится, что хоть кто-то в этих краях, включая бабушек, когда-либо читал подобные сказки: здесь не место принцессам, «Фонтану молодости» и «Замку семи чудес». Если здесь и рассказывали какие-то сказки, сидя вечером у кухонного очага, то, скорее всего, о заколдованных собаках и зловредных деревьях, о магических силах политиков, сжигавших соломенные куклы конкурентов во время избирательных кампаний.

Но на самом деле я не знаю, о чем думали или разговаривали деревенские, настолько я была отрезана от них. Бывало, старшие крестились, завидев нас, возможно, потому, что моя мама носила свободные брюки, но что в этом было плохого, нам никто не объяснял. И хотя мы с братом играли во время визитов родителей к Полю и мадам с их смурными, несколько враждебными детьми, эти игры были короткими и без слов. Для нас оставалось загадкой, что происходило в маленькой церкви на холме, куда эти люди ходили по воскресеньям: родители не разрешали нам подкрадываться и подглядывать в окна, и это только разжигало наше любопытство. Когда брат начал ходить в школу зимой, он сказал мне,

что это называется мессой и на ней едят; я представила нечто вроде вечеринки с мороженым на день рождения, поскольку ничего другого в то время не связывала с людьми, поедающими что-то вместе, но, по словам брата, все, что ели в церкви, это пресные крекеры.

Когда я сама пошла учиться, то умоляла позволить мне ходить в воскресную школу вместе со всеми; мне хотелось выяснить, что там происходит, а кроме того, хотелось меньше выделяться. Но отец не разрешил — он воспринял это так, словно я попросилась в бильярдную: он сторонился христианства и хотел защитить нас с братом от его тлетворного влияния. Однако через пару лет он решил, что я достаточно большая и у меня хватит здравого смысла разобраться самой.

Я знала, во что одеваться — грубые белые чулки и шляпа с перчатками, — и пошла с одной девочкой из школы, чья семья, насупив брови, взяла на себя миссию ввести меня в лоно церкви. Это была Объединенная церковь Канады, стоявшая на длинной серой улице, застроенной панельными домами. Шпиль увенчивал не крест, а что-то вроде вращающейся луковицы — душник, как мне сказали, — и в самой церкви пахло пудрой для лица и влажными шерстяными брюками.

В подвале размещалась воскресная школа; там были черные доски, как в обычной школе, и на одной из них красовалась надпись оранжевым мелом: «КИКАПУ. СОК РАДОСТИ», а ниже были загадочные буквы зеленым мелом: «КДНП». Я невольно подумала про киднеппинг, но потом мне объяснили, что это значит: «Канадские девочки на практике». Учительница была с бордовыми ногтями и в большой голубой шляпе, приколотой к волосам двумя спицами; она немало рассказала нам о своих поклонниках и их машинах. А под конец раздала картинки с Иисусом, похожим на обычного человека: без тернового венца и выпирающих ребер, обернутого простыней, с уставшим видом, явно неспособного творить чудеса.

Каждый раз после церкви семья, с которой я туда ходила, ехала на холм над железнодорожной станцией смотреть на поезда, идущие то в одну сторону, то в другую; это было их воскресным развлечением. Затем они брали меня на ланч, состоявший всегда из свинины с бобами и консервированных ананасов на десерт. Вначале отец произносил благодарственную молитву: «За то, что мы собираемся принять, пусть Господь ниспошлет нам подлинную благодарность,

Аминь», — пока четверо детей щипались и пихались под столом; а под конец он прибавлял:

Свинина и бобы – музыкальные плоды,
Чем больше съели, тем громче трели.

Мать, с копной седеющих волос и волосками вокруг рта, похожими на иголки, хмурилась и спрашивала меня, что я усвоила об Иисусе в то утро, а отец, которого никто не замечал, вяло ухмылялся; он был банковским служащим, его единственным развлечением были воскресные поезда, а единственным нарушением этикета — неприличные стишки. Какое-то время я верила, что консервированные ананасы могут улучшить музыкальные способности и голос, пока брат не развеял это заблуждение.

— Может, я стану католичкой, — призналась я ему; говорить родителям я боялась.

— Католики сумасшедшие, — сказал он.

Католики ходили в школу дальше по улице от нашей, и наши мальчишки кидали в них зимой снежки, а весной и осенью — камни.

— Они верят в ПДМ[21].

Я не имела понятия, что это значит, и брат то-

[21] Примечания: 21

ПДМ — Пресвятая Дева Мария (в ор.: B.V.M., то есть Beata Virgo Maria *(сокр., лат.).*

же, но он сказал:

— Они верят, что если ты не ходишь на мессу, то превратишься в волка.

— А ты превратишься? — спросила я.

— Мы же не ходим, — сказал он, — и пока не превратились.

Может, поэтому никто слишком не напрягался с поисками моего отца — все боялись, что он мог превратиться в волка; он должен быть идеальным кандидатом, поскольку никогда не ходил на мессу. Les maudits anglais, проклятые англичане, как здесь говорят; многие уверены, что мы в буквальном смысле прокляты. В «Квебекских народных сказках» должна быть история о loup-garou[22], и, возможно, она там была, но ее удалил мистер Персивал, не стерпев таких страстей. Однако в некоторых сказках бывает наоборот: животные оказываются людьми и снимают свою шкуру так легко, словно раздеваются.

Мне на ум приходит волосатая спина Джо — это атавизм, как аппендикс или мизинцы на ногах, — скоро эволюция сделает нас совсем безволосыми. Но мне нравится эта волосатость, как и его крупные зубы, крепкие плечи, неожиданно изящные

---

[22] Примечания: 22
Оборотень *(фр.)*.

бедра и руки, которые я все еще ощущаю у себя на коже, загрубелые и жесткие от глины. Все, что я ценю в нем, как будто относится к физиологии, остальное же мне неизвестно, неблизко или просто смешно. Меня мало волнует его темперамент, переходы от мрачного к хмурому или цветочные горшки, которые он умело лепит, а потом уродует, прорезая в них дыры, сдавливая и расковыривая. Это неправильно, он никогда не пользуется ножом, только пальцами, и большую часть времени он гнет их, сгибает пополам; и все же они кажутся какими-то уродскими мутантами. И ни у кого они не вызывают восхищения: экзальтированные домохозяйки, которых он учит на курсах гончарного мастерства и керамики дважды в неделю, хотят делать пепельницы и тарелки с веселыми ромашками, а его изделия никто не покупает в тех немногих магазинчиках, которые вообще принимают их на продажу. Так что все эти горшки скапливаются в нашем и без того тесном подвальном помещении, словно обрывочные воспоминания о жертвах убийств. Я даже не могу поставить в них цветы, потому что вода из них вытекает. Их единственное назначение — поддерживать невысказанную претензию Джо на звание серьезного художника: всякий

раз, как я продаю дизайн плаката или получаю новый заказ, он лепит очередной горшок.

Я хочу нарисовать мою третью принцессу легко бегущей через луг, но бумага слишком влажная, и принцесса расползается сзади; я пытаюсь спасти рисунок, превратив расплывшийся зад в турнюр, но получается неубедительно. Сдаюсь и валяю дурака, пририсовывая принцессе клыки и усы, окружая ее лунами и рыбами, и добавляю оскаленного волка с вздыбленным загривком; но волк напоминает колли-переростка. Какая альтернатива принцессе? Что еще родители захотят купить своим детям? Очеловеченных медведей и говорящих свиней, благоразумных паровозиков, преодолевающих трудности и достигающих успеха.

Возможно, мне нравится в Джо не только его тело, но и неустроенность; в этом тоже есть какая-то чистота.

Я комкаю свою третью принцессу, сливаю воду с краской в помойное ведро и чищу кисти. Затем осматриваю из окон окрестности: Дэвид и Джо все еще на озере, но, похоже, они собираются возвращаться. Анна, перекинув полотенце через руку, почти поднялась по ступенькам на холм. Секунду я вижу ее сквозь сетчатую дверь, и она

входит в дом.

— Привет, — говорит она. — Сделала что-нибудь?

— Не особо, — говорю я.

Она подходит к столу и расправляет моих скомканных принцесс.

— Хорошо нарисовано, — говорит она неуверенно.

— Они неправильные, — возражаю я.

— О… — она кладет рисунки лицом вниз. — А ты верила в эти истории, когда была маленькой? Я верила, думала, что я настоящая принцесса и стану в итоге жить в замке. Нельзя давать детям такие сказки.

Она подходит к зеркалу, промокает и разглаживает лицо, затем встает на мысочки и смотрит себе за спину — не порозовела ли.

— А чем он тут *занимался*? — вдруг спрашивает она.

Я не сразу понимаю, что́ она имеет в виду. Моего отца, его работу.

— Не знаю, — отвечаю я. — Ну так, всем понемногу.

Она смотрит на меня с неодобрением, словно я нарушила приличия, и я теряюсь; она как-то сказала мне, что определять себя нужно не тем,

чем ты занимаешься, а тем, кто ты есть. Когда ее спрашивают, кем она работает, она заводит разговор об изменчивости и о том, что предпочитает Бытие, а не Делание; но если человек ей неприятен, она просто говорит: «Я жена Дэвида».

— Он здесь просто жил, — говорю я.

Это почти верно, это удовлетворяет ее, и она идет в спальню переодеться.

И тут же меня охватывает гнев на отца за то, что он вот так исчез, ничего никому не сказав, оставив меня без ответов для всех, кто станет задавать мне вопросы. Если он собирался умереть, он должен был сделать это в открытую, чтобы люди знали, могли поставить над ним камень и жить дальше.

Всем это должно было казаться странным: человек его возраста живет один в хижине всю зиму, за десять миль от ближайших соседей; у меня же это не вызывало вопросов, для меня это было логичным. Родители всегда собирались переселиться сюда на постоянное место жительства, как только отец выйдет на пенсию: он стремился к уединению. У него не было неприязни к людям, они просто казались ему неразумными; животные, говорил он, более последовательны, их поведение хотя бы предсказуемо. Именно это

олицетворял для него Гитлер: не триумф зла, а отсутствие здравомыслия. Отец считал войну неразумной, мои родители были пацифистами, но он все равно пошел бы сражаться, вероятно, чтобы защитить интересы науки, если бы его взяли; только в этой стране, наверное, ботаник может представлять ценность для национальной безопасности.

Выйдя на пенсию, он уволился; мы могли бы жить круглый год в заводском городе, но отец заставлял нас метаться между двумя мирами: городом и лесом. В городе мы то и дело куда-то переезжали, а в лесу он выбрал самое глухое озеро, какое смог найти; когда родился мой брат, туда не доходила ни одна дорога. Даже в деревне для отца было слишком многолюдно, ему нужен был остров, такое место, где он мог бы вести не оседлую фермерскую жизнь, какую вел его отец, а жизнь первых поселенцев, прибывавших во времена, когда здесь не было ничего, кроме дикого леса, и никакой идеологии, не считая той, что они привезли с собой. Когда говорят о Свободе, обычно имеют в виду всего лишь свободу от постороннего вмешательства.

На полке рядом с лампой по-прежнему лежит стопка бумаг. Я не прикасалась к ним — про-

сматривать их значило бы вторгаться в личное пространство отца, если он еще жив. Но теперь, когда я решила, что он мертв, я могла бы выяснить, что он оставил мне. И исполнить его волю.

Я ожидала найти некий отчет — о прогрессирующих болезнях, о незаконченном деле; но на верхней странице только схематичный рисунок руки, сделанный фломастером или кисточкой, и какие-то сокращения: цифры, имя. Я пролистываю несколько страниц. Снова руки, затем угловатая детская фигурка, без лица, без кистей и ступней, а на следующей странице похожее существо, из головы которого расходятся две штуки наподобие ветвей или оленьих рогов. На всех страницах цифры, а на некоторых нацарапано по несколько слов: «ЛИШАЙ КРАС ОДЕЖДА СЛЕВА». Я не понимаю, что это может значить. Почерк отцовский, но он изменился, стал поспешней или небрежней.

Неподалеку от дома слышится скрип дерева о дерево — это лодка елозит вдоль мостков, ребята слишком разогнались; я слышу их смех. Убираю бумаги обратно на полку — не хочу, чтобы они видели их.

Вот чем он занимался здесь всю зиму, — сидел, закрывшись в хижине, и рисовал эти странные

рисунки. Я сижу за столом, и мой пульс учащается, словно я открыла шкаф, который считала пустым, и оказалась лицом к лицу с тем, чего не должно там быть, вроде когтя или кости. Вот он, забытый вариант: он мог сойти с ума. Помешаться, чокнуться. Переселиться в лес, как говорят зверобои, так бывает, когда ты слишком долго остаешься в лесу один. И если он сошел с ума, а не умер, тогда все правила теряют силу.

Анна выходит из спальни, снова одетая в джинсы и рубашку. Она причесывается перед зеркалом — волосы светлые на концах, темные у корней — и напевает «Ты мое солнышко»; от ее сигареты вьется дым.

«Помоги, — думаю я, мысленно обращаясь к ней, — скажи что-нибудь».

И она говорит.

— Что на обед? — спрашивает она; и потом, поводя рукой, добавляет: — Вот и они.

Глава седьмая

За ужином мы допиваем пиво. Дэвид хочет рыбачить, сегодня последний вечер, так что я оставляю посуду Анне и иду в огород с лопатой и консервной банкой от горошка.

Я копаю в самой заросшей части огорода, около компостной кучи, выворачивая крошащуюся землю и выуживая пальцами червяков. Почва жирная, черви извиваются, красные и розовые.

Никто меня не любит,
Все только ненавидят,
Пойду я в огород,
Наемся червяков.

Эту песенку пели на все лады в школе на переменах: песенка обидная, но червяки, пожалуй, съедобны. В рыболовный сезон они продаются как яблоки — на дорожных знаках висят объявления: «VERS 5¢»[23], а иногда, если инфляция высокая, — «VERS 10¢». Помню урок французского

---

[23] Примечания: 23
Черви 5 центов *(фр.)*.

про vers libre[24] — я сперва перевела это как «свободные черви», и мама решила, что я умничаю.

Кладу в банку червей и немного грязи для них. Возвращаясь в хижину, я закрываю банку рукой; черви тычутся в ладонь, пытаясь выбраться. Отрываю кусок бумаги от пакета с продуктами, прикрываю банку и закрепляю импровизированную крышку резинкой. Моя мама запасалась всем подряд: резинками, нитками, булавками, банками — для нее Великая депрессия так и не кончилась.

Дэвид скручивает взятую напрокат удочку; она из стекловолокна — я таким не доверяю. Я снимаю со стены удочку со стальной блесной.

— Давай, бери, — говорю я Дэвиду, — для рыбалки в штиль самое то.

— Покажи, как лампу зажигать, — просит Анна, — я останусь, буду читать.

Мне не хочется оставлять ее одну. Я опасаюсь, что отец прячется где-то на острове и может вернуться в дом, привлеченный светом, и прильнуть к окну, как огромная ночная бабочка; или если он сохранил рассудок, то может просто выгнать ее из дома. Пока мы держимся вчетвером, он к

---

[24] Примечания: 24
Верлибр *(фр.)*.

нам не подойдет — он всегда сторонился людей.

— Тоже мне, спорт, — шутит Дэвид.

Я говорю Анне, что она будет нужна мне в лодке для веса, но это неправда, поскольку у нас и так перевес, однако она не подвергает сомнению мои слова, ведь я знаток.

Пока они садятся в лодку, я снова иду в огород и ловлю маленькую леопардовую лягушку на крайний случай. Сажаю ее в банку и прокалываю в крышке несколько дырок для воздуха.

Коробка для снастей пахнет несвежей рыбой от давнего улова; я также беру жестянку с червями и банку с лягушкой, нож и охапку листьев папоротника под рыбу. Джо сидит на носу, Анна сразу за ним, на спасательном жилете, и смотрит в мою сторону, Дэвид на другом спасательном жилете, спиной ко мне, его ноги сплетаются с ногами Анны. Перед тем как отчалить, я прицепляю серебристо-золотистую вертушку со стеклянными рубиновыми глазками на леску Дэвида и насаживаю червя, соблазнительно извивающегося всем телом. Оба кончика шевелятся.

Анна издает возглас отвращения, глядя, как я этим занимаюсь.

Брат говорил мне, что червям не больно, они ничего не чувствуют. Я спрашивала, почему же

тогда они извиваются. А он отвечал, что от нервного напряжения.

— Что бы ни случилось, — говорю я им, — держитесь посередине.

Мы тяжело выплываем из бухты. Я набрала слишком много: я так давно не была в лодке, что у меня сводит мышцы, а Джо гребет так, словно помешивает озеро половником, и мы зарываемся носом. Но никто из них ничего не замечает. Я думаю, как хорошо, что мы рыбачим не ради пропитания. Прокусить себе руку и сосать кровь, как делают на спасательных лодках; или индейский способ: если нет наживки, попытайся оторвать кусок своей плоти — вот что такое настоящий голод.

Береговая линия острова остается позади — здесь отец нас не достанет. По небу над деревьями разбрелись слоистые барашки облаков, словно мазки акварели на влажном листе; на озере ветра нет, воздух мягкий, как перед дождем. Рыбам такое нравится, как и комарам, но я не могу применять никакой спрей, поскольку он заденет наживку, и рыба это учует.

Я рулю вдоль берега. Из бухты взлетает синяя цапля, ловившая там рыбу, и поднимается в небо — шея и клюв тянутся вперед, а длинные ноги

вытянуты назад, — точно крылатая змея. Цапля замечает нас и, отрывисто каркнув — наверное так кричал птеродактиль, — поднимается выше, направляясь на юго-восток, где обитала и, наверно, до сих пор обитает их стая. Но теперь мне нужно внимательнее следить за Дэвидом. Медная леска провисает, опускаясь в воду, чуть вибрируя.

— Есть что-нибудь? — спрашиваю я.

— Так, вибрирует слегка.

— Это блесна качается, — говорю я. — Держи кончик в воде; если почувствуешь клев, обожди секунду и резко тяни, хорошо?

— Ясно, — говорит он.

Мои руки устали. Я слышу, как у меня за спиной лягушка в банке тычется носом в бумажную крышку.

Когда мы приближаемся к отвесному утесу, говорю Дэвиду смотать удочку — мы будем рыбачить на месте, и он сможет испытать свой агрегат.

— Ложись, Анна, — произносит он, — и я испытаю свой агрегат.

— Господи боже, — говорит Анна, — тебе ко всему надо это присовокупить, да?

Он хихикает, глядя на нее, и сматывает удочку

— леска натягивается, с нее стекает вода; блесна, сверкнув бледным боком, выскакивает из озера. Когда она скользит к нам над водой, я вижу, что червя нет. На крючке только ошметки кожи; раньше я удивлялась, как приманки с грубыми глазками африканских идолов могут обмануть рыбу, но, возможно, рыба теперь поумнела.

Мы напротив утеса, серая глыба вздымается как монумент, чуть нависая над нами, с уступом посередине, похожим на карниз, в расселинах растет бурый лишай. Я надеваю свинцовое грузило и другую блесну с новым червем на леску Дэвида и покручиваю ее; червь, розовый, розово-бурый, насаживается и исчезает в тени утеса. Его замечают темные рыбьи торпеды, принюхиваются к нему, трогают носами. Я верю в них, как другие верят в Бога: я их не вижу, но знаю, что они там.

— Не шуми, — говорю я Анне, начавшей ерзать. — Они могут услышать.

Темнеет, кругом тишина; из леса доносится клекот дроздов, они поют на закате. Рука Дэвида ходит вверх-вниз.

Никакого результата, и я велю ему сматывать; червя опять нет. Достаю мелкую лягушку, крайнее средство, и как следует цепляю на крючок, невзирая на кваканье. Я никогда еще не делала

этого сама.

— Бог мой, ну и хладнокровная же ты, — говорит Анна.

Лягушка уходит под воду, гребя лапками, сейчас она напоминает плывущего человека.

Все ждут с нетерпением, даже Анна: они догадываются, что это мой последний фокус. Я пристально смотрю на воду — для меня это всегда была своего рода медитация. Мой брат брал умением — он мог предугадывать поведение рыб, а я рыбачила, прислушиваясь и молясь.

Отче наш, Иже еси на небесех,

Дай, пожалуйста, рыбе пойматься.

Позже, когда я поняла, что это не действует, стала просто повторять: «Ловись, пожалуйста», словно заклиная или гипнотизируя рыбу. У брата улов был больше, но я могла притворяться, что мои рыбы шли ко мне по доброй воле, выбирая смерть и заранее меня прощая.

Я начинаю думать, что лягушка нам не поможет. Но магия работает — удочка клонится к воде, словно волшебная лоза, и Анна вскрикивает от неожиданности.

— Держи леску крепко, — говорю я.

Однако Дэвид меня не слышит и неистово

сматывает удочку, хохоча от возбуждения, и из воды выскакивает рыба, зависая в воздухе, как на фотографии над барной стойкой, только живая. Она качается и дергается, леска провисает, рыба бьет хвостом, изворачиваясь; Дэвид со всей дури тянет удочку на себя, и рыба, чуть не сорвавшись, летит по дуге и шлепается в лодку, прямо на Анну, которая вопит, съежившись:

— Уберите ее с меня! Уберите с меня!

Лодка ходит ходуном.

— Бляха-муха, — говорит Джо и хватается за край лодки.

Я наклоняюсь к другому краю для равновесия, а Дэвид пытается поймать рыбу. Она скачет по дну лодки, раздувая жабры.

— На, — говорю я, — ударь ее по голове.

И даю ему нож в чехле — мне не хочется самой убивать ее.

Дэвид пытается ударить рыбу, но промахивается; Анна закрывает глаза и постанывает. Рыба скачет ко мне, и я припечатываю ее ногой, хватаю нож и быстро луплю рукояткой, разбивая череп. Рыба дрожит всем телом и замирает.

— Ну что? — произносит Дэвид, в гордом изумлении глядя на свой улов.

Все смеются с облегчением, радуясь победе,

словно на параде в честь окончания войны, и я радуюсь за них. Звуки их голосов отскакивают от утеса.

— Судак, — говорю я, — щуренок. Будет нам на завтрак.

Рыба хорошего размера. Я ее поднимаю, крепко держа пальцами под жабрами, потому что рыба может укусить и вырваться даже мертвая. Я кладу ее на папоротник и ополаскиваю руку и нож. Один рыбий глаз заплыл, и меня подташнивает — это потому, что я ее убила, отняла у нее жизнь; но я понимаю, что это иррациональное чувство, ведь убивать кое-кого в порядке вещей: еду и врагов, рыбу и комаров; и ос, когда их слишком много, иногда ты даже заливаешь их норы кипятком. «Не тревожь их, и они тебя не потревожат», — повторяла мама, когда осы кружили над нашими тарелками. Это было еще до постройки дома, когда мы жили в палатках. Отец говорил, осы летают в определенные дни.

— Четко, да? — спрашивает Дэвид; он возбужден, он ждет похвал.

— Ы-ы, — говорит Анна, — она скользкая, я ни кусочка не съем.

Джо усмехается, возможно, завидуя.

Дэвид хочет опять закинуть удочку; это как

азартная игра — прекращаешь, только если не везет. Я молчу о том, что у меня больше нет волшебных лягушек, и протягиваю ему червя, чтобы он сам насадил его.

Он рыбачит какое-то время, однако без успеха. Анна опять начинает ерзать, и тут я слышу гудение — моторную лодку. Я вслушиваюсь — лодка может направляться в другую сторону, но она обходит мыс, гудение переходит в рев, и вот на нас движется большой катер, вспенивая воду по обеим сторонам. Двигатель смолкает, катер скользит мимо нас, покачивая нашу лодку. На носу висит американский флаг, и второй на корме, на борту два пассажира — недовольные бизнесмены с лицами мопсов, в щегольской амуниции, — и тощий замухрышка из местных, проводник. Я узнаю Клода из мотеля, он сердито щурится, глядя на нас, ведь мы покушаемся на его добычу.

— Клюет? — кричит один американец, обнажая зубы — дружелюбный, как акула.

— Нет, — говорю я, пиная Дэвида.

Он бы похвастался, чтобы позлить их.

Другой американец бросает окурок сигары за борт.

— Не самое лучшее место на вид, — говорит он Клоду.

— Раньше было, — отвечает Клод.

— На следующий год собираюсь во Флориду, — сообщает первый американец.

— Сматываем удочки, — говорю я Дэвиду.

Оставаться дольше не имеет смысла. Если они поймают хоть одну рыбину, останутся на всю ночь в своем навороченном катере, а если ничего не поймают за пятнадцать минут, то станут беситься и орать на все озеро, распугивая рыбу. Они из тех, кто ловит больше, чем может съесть, и готовы пустить в ход динамит, если знают, что это сойдет им с рук.

Когда-то такие люди нам казались безобидными и забавными, криворукими и обаятельными, как президент Эйзенхауэр. Один раз мы встретили двоих американцев по пути к липовому озеру: они плыли в металлическом катере, подняв над водой мотор, собираясь включить его, когда достигнут внутреннего озера. Впервые услышав, как они продираются через подлесок, мы подумали, что это медведи. Потом к нашему костру подошел один американец со спиннингом и подпалил свои новые бутсы; когда он попробовал закинуть удочку, то запулил грузило (настоящего пескаря, запечатанного в полиэтилен) в кусты на другой стороне бухты. Мы смеялись над ним за

глаза и спросили, не ловит ли он белок, но он не обиделся и показал нам автоматическую зажигалку для костра и походную кухню со съемными ручками и раскладным стулом. Им нравилось все раскладное.

На обратном пути мы движемся вдоль самого берега, сторонясь проточного озера на случай, если американцам вздумается проскочить вплотную к нам — они так делают забавы ради — и потопить нашу лодку. Но, не успев одолеть половину пути, мы слышим, как они, гудя мотором, удаляются в неведомые дали, словно марсиане в недавнем фильме, и я успокаиваюсь.

Когда мы вернемся, я подвешу рыбу и смою с рук чешую и соленый пот с подмышек. После этого зажгу лампу и огонь и сварю какао. Впервые я чувствую себя здесь в своей тарелке и знаю: это оттого, что завтра мы уезжаем. Отец получит остров в свое распоряжение; безумие не выставляют напоказ, я уважаю его выбор — как бы он здесь ни жил, это лучше, чем приют. Перед тем как уйти, я сожгу его рисунки — они дают о нем превратное представление.

Солнце село, мы скользим по воде в сгущающихся сумерках. Вдалеке кричат гагары; мимо порхают летучие мыши, опускаясь к воде, совер-

шенно недвижной; береговой пейзаж — бело-серые валуны и мертвые деревья — отражается в темном зеркале. Вокруг нас все кажется иллюзией: бесконечное пространство или его отсутствие вместе с нами и размытым берегом, которого мы, кажется, можем коснуться, ведь вода словно исчезла. Под нами плывет отражение лодки, весла двоятся в озере. Мы словно движемся по воздуху, ничто не держит нас снизу; мы висим в пустоте и дрейфуем домой.

Глава восьмая

Рано утром меня будит Джо; у него, что ни говори, умные руки, они так тщательно меня ощупывают, словно слепой читает шрифт Брайля, со знанием дела, они лепят меня, как вазу, изучают; его руки повторяют знакомые движения, они уже знают, как действовать, и мое тело откликается в ответ, предвосхищая его, такое отлаженное, чуткое, как пишущая машинка. Лучше всего с незнакомками. Эти слова приходят мне на ум, когда-то их говорили в шутку, но теперь они угнетают меня — кто-то сказал в припаркованной машине после школьных танцев: «С бумажным пакетом на голове они все одинаковые». В то время я не поняла, что имелось в виду, но потом думала об этом. Это почти как герб: два человека занимаются любовью с бумажными пакетами на головах, даже без прорезей для глаз. Хорошо бы это было или плохо?

Закончив, мы отдыхаем, потом я встаю, одеваюсь и иду готовить рыбу. Она всю ночь висела на ветке дерева, подвешенная за жабры на проволоку, чтобы ее не достали падальщики: еноты, выдры, норки, скунсы. Я выжимаю рыбье дерьмо

— как птичье, только темнее — струйкой из ануса. Снимаю рыбу с проволоки и иду с ней к озеру, чистить и потрошить.

Я сажусь на колени на плоский валун на берегу, рядом со мной нож и тарелка для рыбного филе. Я никогда не потрошила рыбу; кто-то другой делал это, брат или отец. Я отрезаю голову и хвост, вспарываю живот, и раскрываю рыбье нутро. В желудке полупереваренная пиявка и остатки рака. Я разрезаю рыбу вдоль хребта, а затем поперек: четыре куска, сизо-белых, просвечивающих. Внутренности надо закопать в огороде, для удобрения.

Когда я мою филе, к мосткам подруливает Дэвид с зубной щеткой.

— Ух ты! — восхищается он. — Это моя рыба? — он с интересом рассматривает кишки в тарелке. — Ну-ка, — говорит он. — Это «случайная сцена».

Дэвид зовет Джо с камерой, и они вдвоем сосредоточенно снимают рыбью требуху, лопнувший мочевой пузырь и артерии с жилами, перекладывая их между дублями для большей выразительности. Дэвиду не приходит на ум, чтобы кто-то снял его «Кодаком», как он держит свою рыбу за хвост, ухмыляясь, или сделать из

нее чучело и повесить на стену; но все равно ему хочется обессмертить ее на свой лад. Фотоальбом, я там тоже где-то есть, последовательные воплощения меня, сохраненные и разглаженные, как цветы, вложенные в словарь; у мамы был такой альбом, кожаный, вроде полевого дневника. Я ненавидела стоять, не шевелясь, в ожидании щелчка.

Я валяю филе в муке и жарю, и мы едим его с полосками бекона.

— Добрая пища, доброе мясо, Бог добр к нам, просто и ясно, — говорит Дэвид; а потом добавляет, смакуя: — В городе такого не достанешь.

— Конечно, достанешь, — возражает Анна, — замороженное. Теперь там все можно достать.

После завтрака я иду в свою комнату и начинаю собирать вещи. Мне слышно сквозь фанерную стену, как расхаживает Анна, наливает еще кофе, как скрипит кровать, когда ложится Дэвид.

Пожалуй, мне следует свернуть все постельное белье, и полотенца, и оставленную одежду, связать их в узлы и увезти с собой. Теперь никто здесь не будет жить, и все это съест моль и мыши. Если отец решил никогда не возвращаться сюда, полагаю, это принадлежит мне, или половина мне и половина брату; но мой брат ничего не

будет делать с вещами — с тех пор, как уехал отсюда, он почти не общался с родителями, как и я. Но он устроился лучше меня, просто забрался так далеко, как только смог: если взять вязальную спицу и проткнуть ей землю, конец выйдет там, где мой брат, на задворках цивилизации, вне досягаемости; вероятно, он еще даже не получил мое письмо. Права на разработку недр — вот что он исследует, работая для одной крупной международной компании, он разведчик недр; но мне в это не верится — ничто из того, что он сделал с тех пор, как мы выросли, не кажется мне настоящим.

— Мне здесь нравится, — говорит Дэвид.

Остальные молчат.

— Давайте здесь останемся, скажем, на неделю, будет здорово.

— А как же твой семинар? — спрашивает Анна неуверенно. — «Человек и его электрическое окружение» или как там?

— Электрифицированное. Это только в августе.

— Думаю, нам не стоит, — говорит Анна.

— Почему ты никогда не хочешь для нас того, чего хочу я? — задает вопрос Дэвид, и повисает тишина, а затем он спрашивает: — А ты что думаешь?

И Джо отвечает:

— Я не против.

— Отлично, — говорит Дэвид, — наловим еще рыбы.

Я сажусь на кровать. Они могли бы спросить меня для начала, ведь это мой дом. Хотя, возможно, они ждут, пока я выйду к ним, и тогда спросят. Если я скажу, что не хочу, они не смогут, по-хорошему, остаться; но как я объясню свое нежелание? Я не могу рассказать им об отце, предав его; и в любом случае они могут решить, что я это выдумываю. Есть еще моя работа, но они знают, что у меня все с собой. Я могла бы уехать одна с Эвансом, но тогда я не выберусь из деревни: машина — Дэвида, мне бы пришлось украсть ключи, а кроме того, не надо забывать, что я никогда не училась водить.

Анна предпринимает последнюю слабую попытку:

— У меня кончатся сигареты.

— Тем лучше, — говорит Дэвид ободряюще, — гнусная привычка. Ты вернешься в форму.

Он старше нас, ему уже за тридцать, он начинает переживать о своей форме; то и дело хлопает себя по животу и говорит: «Жировой депозит».

— Я стану психовать, — обещает Анна.

Но Дэвид только смеется:

— Попробуй.

Я могла бы сказать им, что у нас мало пищи. Но они поймут, что это неправда, ведь тут есть огород и полно консервов на полках: солонина, тушенка, тушеная фасоль, курица, сухое молоко — все, что надо.

Я подхожу к двери в комнату и открываю ее.

— Все равно тебе придется заплатить пятерку Эвансу, — говорю я.

На миг они застывают, понимая, что я все слышала. Затем Дэвид произносит:

— Не беда.

Он окидывает меня взглядом, торжествующим и оценивающим, как будто выиграл что-то — не войну, а в лотерею.

Когда в назначенное время появляется Эванс, Дэвид и Джо выходят на мостки, уладить с ним дела. Я их предупредила ничего не говорить о рыбе, иначе эту часть озера наводнят американцы — они разносят новости с поразительной скоростью, как муравьи про сахар или раков. Через несколько минут я слышу, как лодка снова заводится, а потом набирает обороты и удаляется — и вот, Эванса нет.

Чтобы не встречаться с ним и не участвовать

в объяснениях и обсуждениях, я закрылась в нужнике. Я так делала раньше, когда хотела уклониться от чего-то, вроде прополки огорода. Теперь это новый нужник — старый пришел в негодность. Этот сделан из бревен; мы с братом выкопали яму для него, он копал лопатой, а я собирала песок в ведро. Один раз туда упал дикобраз, им нравится жевать ручки топоров и стульчаки.

В городе я никогда не пряталась в туалетах; мне они не нравились — слишком тоскливые и белые. Насколько я помню, единственное, где я пряталась в городе, — это за дверями, на вечеринках в честь дня рождения. Я их терпеть не могла: лиловые бархатные платья, как обивка скамеек в церкви, кружевные воротники, как салфетки на мебели, вручение подарков, сопровождаемое возгласами зависти, и бессмысленные игры, такие как найти наперсток или запомнить предметы на подносе. Ты могла быть лишь одной из двух: победительницей или проигравшей; матери пытались вмешиваться, чтобы всем достались призы, но они не понимали, что делать со мной, если я не играла. Поначалу я убегала, но потом мама сказала мне играть со всеми и научиться быть вежливой; «цивилизованной», как она это

называла. Так что я смотрела из-за двери, как играют другие. Когда же я наконец пошла играть со всеми в музыкальные стулья, меня шумно приветствовали, словно я обратилась в их веру или вступила в партию.

Некоторые были не в восторге от меня, их забавляла моя склонность прятаться, как улитка в свой домик, и вообще я забавляла их. Каждый год я отправлялась в новую школу, в октябре или ноябре, когда первый снег опускался на озеро, и каждый раз я попадала в неизвестную среду, как человек другой культуры: надо мной можно было проделывать шутки и мелкие издевательства, которые уже они опробовали друг на друге. Когда после уроков мальчишки ловили девчонок и связывали их же прыгалками, они развязывали всех, кроме меня. Много раз я оставалась часами привязанной к заборам и калиткам, и удобным деревьям, ожидая доброго взрослого, который бы увидел и освободил меня; потом я сама научилась распутывать всяческие узлы и стала настоящим эскапистом. Бывали дни, когда дети окружали меня и донимали чем-нибудь.

«Адам и Ева, и Щипай, — выкрикивали они, — пошли на реку купаться; Адам и Ева упали. Кто же, как ты думаешь, остался?» — «Не знаю», —

говорила я. «Ты должна отвечать, — требовали они, — такие правила». «Адам и Ева, — говорила я нарочно. — *Они* остались». — «Если не будешь отвечать как надо, мы не будем с тобой играть», — угрожали они.

Быть изгоем — все равно что умственно неполноценным: к тебе относятся с презрением и жалостью и хотят мучить и воспитывать.

Моему брату пришлось еще хуже; наша мама внушила ему, что драться нельзя, вот он каждый день и приходил домой в синяках. Наконец маме пришлось сдаться: она ему разрешила драться, но только после того, как его ударят.

Я недолго продержалась в воскресной школе. Одна девочка рассказала мне, что молилась о кукле фигуристки Барбары Энн Скотт с фигурными коньками и вышитыми на костюме лебедями и получила ее на день рождения; так что я тоже решила молиться — не просто обращаться за милостью к Господу и не просить о чем-то рыбу, а молиться, чтобы получить что-то реальное. Я стала произносить молитву, чтобы стать невидимкой, и когда наутро все по-прежнему могли видеть меня, поняла: они верят в неправильного Бога.

Мне на руку садится комар, и я жду, пока он

укусит меня и его брюшко наполнится кровью, прежде чем раздавить, как спелую ягоду. Кровь нужна комарам, чтобы откладывать яйца. Сквозь сетку на окне задувает ветер с озера; здесь лучше, чем в городе, с его выхлопными газами и духотой, запахом жженой резины в подземке, бурым налетом, покрывающим кожу после того, как походишь по улицам. Как я могла так долго жить в городе — там кругом опасности. Здесь я всегда чувствовала себя в безопасности, даже ночью.

«Неправда», — громко говорит мой внутренний голос. Я напряженно думаю об этом, взвешиваю свои мысли и понимаю, что это неправда: иногда здесь я бывала напугана, светила фонариком на тропинку перед собой, вслушиваясь в шелест леса, и знала, что он охотится за мной — медведь, волк или какое-нибудь неведомое создание, что было еще хуже.

Я оглядываю стены, окно: все как раньше, ничего не изменилось, но очертания исказились, как будто все слегка покоробилось. Мне следует быть осторожней с памятью, быть уверенной, что помню что-то сама, а не услышала от кого-то о том, что чувствовала, как себя вела, что говорила: если я напутаю с событиями, то напутаю и с чувствами, связанными с ними, начну придумывать

их и уже не смогу исправить — не осталось никого, кто способен мне помочь. Я быстро перебираю воспоминания о собственной жизни, проверяя их, как алиби; все сходится, все на месте до тех пор, как я уехала отсюда. Затем какая-то каша, словно помехи в кинохронике, воспоминаний нет, сплошной пробел; не помню даже, сколько лет мне было. Я закрываю глаза — в чем же дело? Если помнишь прошлое, а не настоящее, это значит, ты впадаешь в слабоумие.

Подавляю панику, заставляю себя открыть глаза и смотрю на свою руку, на которой написана вся моя жизнь, как на карте: я раскрываю ладонь, и линии собираются, точно рябь на воде. Внимательно смотрю на паутину у окна и на попавших в нее мух, ловящих солнечные лучи; язык во рту произносит мое имя и повторяет его как мантру…

Затем кто-то стучит в дверь.

— Кто не спрятался, я не виноват.

Это Дэвид, я узнаю его и, успокоившись, снова сажусь.

— Минутку, — прошу я.

Он стучит снова и говорит:

— Закопалась там в барахле.

И хохочет, как Вуди Вудпекер, мультяшный

дятел.

Перед ланчем я им говорю, что пойду поплавать. Другие не хотят, считают, вода слишком холодная, и она действительно холодная, прямо ледяная. Мне бы тоже не следовало, нам говорили об этом, могут начаться судороги.

Раньше я разбегалась по всей длине мостков и прыгала с самого края — это было как сердечный приступ или удар молнии. Но теперь, шагая к озеру, я понимаю, что у меня не хватит духу на такое.

Как раз упав с края мостков, тонул брат, он спасся только по случайности — мама его услышала, поскольку не было ветра. Она нагнулась и, схватив его за волосы, вытащила и вытолкала воду из него. Кажется, этот случай не оставил на нем заметного отпечатка — он его даже не помнил. Если бы такое случилось со мной, я бы считала, что во мне есть что-то особенное, если я вот так просто вернулась с того света; я бы вернулась с какими-то тайнами и знала то, чего не знает большинство людей.

После того как мама рассказала мне это, я спросила, где бы он был теперь, если бы она его не спасла. Она ответила, что не знает. Отец все объяснял, но мама — никогда, и это лишь

убеждало меня в том, что она знала ответы, но помалкивала.

«Он был бы на кладбище»? — спросила я.

Мои сверстники в школе знали стишок и про кладбище:

На кладбище ветер свищет,
Лист осиновый дрожит,
Сняв штанищи, нищий дрищет
На расписанный гранит.

«Никто не знает», — ответила мама.

Она готовила пирог и дала мне кусок теста, чтобы отвлечь. Отец на мой вопрос ответил бы «да»; он говорил, ты умираешь, когда умирает твой мозг. Интересно, он все еще верит в это?

Я спускаюсь с мостков и захожу в воду с берега, медленно, брызгая себе на плечи и шею, холод поднимается по бедрам; я ощущаю подошвами ног песок, и веточки, и прелые листья. Раньше я бы нырнула и поплыла вдоль дна с открытыми глазами, глядя на расплывчатую тень — очертания моего тела — и дальше; или я нырнула бы с лодки или плота и перевернулась под водой на спину, пуская ртом пузыри. Мы оставались под водой, пока кожа не онемеет и не приобретет странный голубовато-лиловый оттенок. Должно

быть, я была сверхчеловеком — сейчас я бы так не смогла. Наверное, я старею наконец-то, если такое возможно.

Я стою на месте и дрожу, глядя на свое отражение и ступни под водой, белые на песке, как рыбья плоть, пока телу в воздухе не становится неприятнее, чем в воде, и тогда я наклоняюсь и, невзирая на озноб, пускаюсь вплавь.

Часть вторая

Глава девятая

Все наши проблемы происходят из-за этой шишки у нас на плечах. Я не против тела или головы: меня раздражает только шея, создающая иллюзию раздельности. Нас сбивает с толку язык — он не должен обозначать тело и голову разными словами. Если бы голова росла прямо на плечах, как у червей или лягушек, без этой конструкции, этой лжи, люди не могли бы смотреть сверху вниз на свои тела и воспринимать их как каких-то роботов или марионеток, которыми они управляют; они бы тогда понимали, что, если голова отделится от тела, умрут и голова, и тело.

Я не помню точно, когда начала подозревать правду о себе и о других: во что превращаюсь я и во что — другие. Что-то из этого открывалось мне так же быстро, как взмывают на ветру флаги или как вырастают после дождя грибы, но это было во мне, это доказательство, его только требовалось расшифровать. Сейчас мне кажется, я всегда это знала, все это: время сжато, как мои пальцы, обхватывающие колено в сумеречной спальне, и я держу в кулаке отгадки, решения и силу для того, что должна теперь сделать.

У меня было слабое зрение, я плохо переводила, не понимала диалекты, я могла бы выработать свой. Ученые проводили эксперименты на детях: закрывали их с глухими и немыми сиделками, запирали в шкафах, лишая слов, — и они выяснили, что после определенного возраста разум уже неспособен впитывать никакой язык; но откуда им знать, что ребенок не изобретает собственный язык, неведомый никому, кроме него самого? Это было в зеленой книге в средней школе, «Ваше здоровье», вместе с фотографиями кретинов и людей с патологиями щитовидной железы, скрюченными и страшными, служившими наглядными примерами, с черной обводкой вокруг глаз, как у осужденных преступников: только такие изображения наготы сочли приемлемыми для детской психики. Кроме них там были графики, слайды с метками и стрелочками, яичники, как лиловые медузы, матка, как груша.

Из-за двери до меня доносятся голоса друзей и шелест игральных карт. Закадровый смех, он у них с собой на бобинах, и они его проигрывают в цикличном режиме на магнитофонах, скрытых у них в груди.

После того как в тот день уплыл Эванс, мне стало не по себе: на острове было небезопасно, в

каком-то смысле мы оказались в ловушке. Ребята этого не сознавали, в отличие от меня, а я отвечала за них. Я ощущала следящие за нами глаза, его присутствие где-то за зеленой завесой листвы, готового атаковать или ретироваться, он был непредсказуем, я пыталась придумать способы оградить их от опасности; им не грозит опасность, пока они не разбредутся поодиночке. Возможно, он безобиден, но я не могу за него ручаться.

Мы поели, и я собрала крошки на поднос, чтобы высыпать птицам. Сойки проведали, что в хижине живут люди; они умные, они понимают, что человек с подносом означает пищу; а может, кто-то из них достаточно стар и помнит фигуру моей мамы с вытянутой рукой. Две-три сойки стояли теперь поодаль, как часовые, внимательно наблюдая.

Джо вышел за мной и смотрел, как я рассыпаю крошки. Он тронул меня за руку, нахмурившись, вероятно желая поговорить со мной: что-то высказать было для него делом нелегким, он сражался со словами, цедя их по одному сквозь бороду, они у него тяжелые и угловатые, как танки. Его рука сжала мою пробной хваткой, но тут показался Дэвид с топором.

— Эй, леди, — сказал он, — я смотрю, ваша по-

ленница почти пуста. Можете использовать мою мужскую силу.

Ему хотелось сделать что-то полезное; и он был прав: если мы пробудем здесь неделю, нам понадобится больше дров. Я попросила его найти деревья на корню, мертвые, но не слишком старые и не гнилые.

— Да, мэм, — сказал он, отвесив мне шутовской поклон.

Джо взял маленький топорик и пошел с ним. Они были городскими, и я боялась, что они поранят ноги; и еще мне подумалось, что это было бы нам на руку — нам бы тогда пришлось вернуться. Я не стала предупреждать их о нем, у них было оружие. Он увидит это и убежит.

Когда они скрылись на тропинке, ведущей в лес, я сказала, что пойду пропалывать огород, этим тоже следовало заняться. А мне хотелось чем-то заниматься, поддерживать хотя бы видимость порядка, чтобы скрывать страх как от друзей, так и от него. Страх имеет запах, как и любовь.

Анна решила, что я рассчитываю на ее помощь; она отбросила свой триллер и притушила сигарету, выкуренную только наполовину, она их экономила. Мы обмотали головы шарфами, и я

пошла в сарай за граблями.

Солнце нещадно палило, и в огороде было жарко и влажно, как в теплице. Мы опустились на колени и принялись дергать сорняки; они сопротивлялись, цепляясь корнями или выходя с комьями земли, а иногда ботва рвалась, оставляя корни в земле, чтобы снова прорасти; я вкопалась ногами в теплую грязь, руки позеленели от крови сорняков. Постепенно стали просматриваться овощи, почти сплошь бледные и чахлые, фактически задушенные. Мы складывали сорняки кучками между грядками, и они увядали, медленно умирая; потом их сожгут, как ведьм, чтобы они не вернулись. Жужжало несколько комаров и слепней, с переливчатыми радужными глазами, их укусы были как горячие иголки.

Периодически я останавливалась и оглядывала забор, нашу границу, но там никого не было. Возможно, отец изменился до неузнаваемости — возраст, безумие и лес могли как следует обработать его: ворох ветхого тряпья, к лицу прилипли опавшие листья. «Время безжалостно», — подумала я.

Родители много лет горбатились на огороде — исходная почва была слишком песчаной и безжизненной. Этот клочок земли был создан

их стараниями, за счет компоста, высушенного болотного ила, лошадиного навоза, который доставляли лодками из зимних лесных поселков, когда там еще держали лошадей для перевозки бревен к замерзшему озеру. Родители таскали навоз вдвоем, в больших корзинах на носилках: два шеста с прибитыми крест-накрест досками.

Я помнила, как еще раньше мы жили в палатках. Где-то здесь мы нашли кадку со свиным салом, разорванную, как бумажный пакет, со следами когтей и зубов, содравших краску. Отец тогда был в одном из своих многодневных походов, изучая деревья по заданию бумажной фабрики или правительства, — я никогда точно не знала, на кого он работает. Продуктов у мамы было на три недели. Медведь залез в палатку с едой через заднюю стенку — мы слышали его ночью. Он растоптал яйца и помидоры, разодрал все консервы, разбросал хлеб, обернутый вощеной бумагой, и перебил банки с джемом; утром мы собрали все, что смогли. Единственное, что не тронул медведь, это картошка; мы как раз завтракали ей у костра, когда он возник на тропинке, решив вернуться за добавкой: этакий косолапый увалень, живая шуба с зубами. Мама встала и пошла на него; медведь замедлил шаг и

заревел. Она пронзительно выкрикнула что-то, похожее на «гад», замахала руками, и медведь развернулся и потопал в лес.

Я запомнила эту картину: мама со спины, машет руками, словно собралась взлететь, и ретирующийся медведь. Когда она потом пересказывала это, она призналась, что перепугалась до смерти, но я ей не верила, она была такой жизнерадостной, уверенной в себе, словно знала магическое заклинание от любых напастей: какой-нибудь жест и слово. Она была в своей кожаной куртке.

— Ты на таблетках? — спросила вдруг Анна.

Я взглянула на нее с удивлением. Я не сразу ответила, пытаясь понять, зачем ей это знать. Раньше такое называлось личным вопросом.

— Уже нет, — сказала я.

— Я тоже, — сообщила она хмуро. — Не знаю никого, кто их еще принимает. У меня от них тромб в ноге, а у тебя?

Ее щека была испачкана, розовый макияж потек на жаре и напоминал деготь.

— У меня испортилось зрение, — сказала я. — Все так размылось. Мне сказали, через пару месяцев все пройдет, но не прошло.

Это было как замазать глаза вазелином, но я не стала этого говорить.

Анна кивнула; она дергала сорняки, словно волосы.

— Ублюдки, — произнесла она. — Неужели у них мозгов не хватает придумать что-нибудь такое, что будет действовать, не убивая тебя? Дэвид хочет, чтобы я снова стала их принимать, говорит, это не вреднее чем аспирин, но в следующий раз у меня может быть проблема с сердцем или еще чем-нибудь. То есть такими вещами я шутить не стану.

Любовь без страха, секс без риска — вот чего они хотели; «и у них почти получилось», — подумала я, они почти добились своего, но, как и в случае с фокусами или ограблениями, неполный успех равнозначен провалу, и мы вернулись к другим средствам. Любовь предохраняется. «Ты предохранялась?» — спрашивают они, не перед этим, а после. Секс раньше пах как резиновые перчатки, и сейчас тоже, только теперь вместо зеленых целлофановых пакетиков прозрачные блинчики, так что женщина может притворяться, что по-прежнему играет в органическую месячную лотерею, а не химическую. Но скоро придумают искусственную матку — интересно, что я тогда почувствую. Когда только родила, я решила, что у меня не будет второго ребенка, — столько

вытерпеть, непонятно ради чего: тебя запирают в больнице, сбривают волосы, и привязывают руки, и не дают ничего видеть, не хотят, чтобы ты понимала, что происходит, хотят, чтобы ты считала, будто все это их дело, а не твое. Тебя обкалывают, чтобы ты ничего не слышала, ты все равно как мертвая свиноматка, ноги закинуты на металлические поручни, и какие-то люди нависают над тобой: лаборанты, техники, мясники, студенты, практикующиеся на твоем теле, неуклюже или с усмешкой — они вынимают из тебя младенца вилкой, как соленый огурец из банки. А затем тебе накачивают вены красной химией — я видела, как она бежала по трубке. Больше никогда не позволю проделать со мной такое.

Его не было там со мной, я уже не помню почему; он должен был присутствовать, ведь это была его идея, его вина. Но он прислал свою машину, чтобы меня забрали и мне не пришлось вызывать такси.

Из леса позади нас донеслись звуки неравномерных ударов топора: несколько ударов, раскатистое эхо, пауза, еще несколько ударов, кто-то из них смеется, эхо смеха. Тропинку прорубил мой брат, за год до того как уехал: он продвигался через подлесок вдоль берега, орудуя

топором и мачете.

— Мы не все еще сделали? — спросила Анна. — Я точно схвачу солнечный удар.

Она уселась на пятки и достала недокуренную сигарету. Думаю, ей хотелось вернуться к доверительному разговору, она бы рассказала мне о других своих болячках, но я продолжала пропалывать. Картошка, лук; земляничная грядка как джунгли — ее мы трогать не будем; все равно сезон уже прошел.

В высокой траве за забором появились Дэвид и Джо, неся за два конца хлипкое бревно. У них был гордый вид, они показали себя добытчиками. Бревно было все в зарубках, словно они дрались с ним.

— Эгей, — окликнул нас Дэвид. — Как дела на плантации?

Анна встала.

— Шел бы ты, — сказала она, щурясь на них против солнца.

— Вы почти ничего не сделали, — заявил Дэвид в своей манере. — По-вашему, это огород?

Я окидываю их топорную работу придирчивым отцовским взглядом. В городе он бы пожал им руки и сразу прикинул: могут ли они обращаться с топором, знают ли что-то о навозе? Они бы

стояли смущенные, с чистой кожей пригородных жителей и в школьной одежде, не зная, чего от них ждут.

— Просто отлично, — сказала я.

Дэвид захотел, чтобы мы достали кинокамеру и немного поснимали, как они вдвоем несут бревно, для «Случайных сцен»; он сказал, это будет его режиссерским камео. Джо вспомнил, что мы не умеем обращаться с камерой. Дэвид пояснил, что нужно лишь нажать на кнопку — идиот бы справился, — в любом случае, будет даже лучше, если кадр окажется не в фокусе или переэкспонированным, — это подчеркнет элемент случайности, примерно так художник бросает краску на холст, это будет органично. Но Джо сказал: что, если мы испортим камеру, кто заплатит за нее? В конце концов они воткнули топор в бревно после нескольких попыток и по очереди сняли друг друга, как они стоят, сложив руки и поставив ногу на бревно, словно это лев или носорог.

Вечером мы играли в бридж слегка засаленными картами, лежавшими здесь с давних пор: на одной колоде синие морские коньки, на другой — красные. Дэвид и Анна играли против нас. Они легко победили: Джо толком не знал правил, а

я не играла много лет. Я всегда была неважным игроком; единственное, что мне нравилось, это собирать и тасовать карты.

Потом я подождала Анну, чтобы она проводила меня до нужника; обычно я ходила первой, одна. Мы взяли оба фонарика; они защищали нас от темноты кругами слабого желтого света, ложившегося на наши ноги. Шелест листвы, жабы в сухих листьях; один раз кролик отрывисто застучал лапой. Звуки, пока я узнаю их, означают, что мы в безопасности.

— Надо было взять свитер потеплее, — посетовала Анна. — Не знала, что будет так холодно.

— Там есть плащи, — сказала я, — можешь брать.

Когда мы вернулись в хижину, мужчины уже были в постели; они себя не утруждали походом в нужник по темноте, а мочились на землю. Я почистила зубы; Анна стала снимать макияж при свете свечи и фонарика, поставленного на попá; лампа выгорела.

Я вошла в свою комнату и разделась. Джо что-то промычал в полусне; я обвила его рукой.

За стенами дома выл ветер и качались деревья, больше ничего. Я видела на потолке желтый кружок света от фонарика Анны; луч переместился,

она вошла в их комнату, и мне было слышно их: дыхание Анны, прерывистое и тревожное, словно загнанное; затем ее голос, но не обычный, а перекошенный, наверное, как ее лицо, отчаянный молящий стон: *ну же, ну же*. Я накрыла голову подушкой, я не хотела это слушать, хотела, чтобы это прекратилось, но куда там. «*Заткнись*», — шептала я, но напрасно. Она стала молиться, так самозабвенно, как будто Дэвида вообще не было рядом. *Боже, боже, о, да, ну же, боже*. Потом ее голос перешел в стон боли, чистый, как вода, стон животного, попавшего в капкан.

Я подумала, что это как смерть, и еще, что это кажется плохим только со стороны. Наверное, они тоже нас слышали, перед этим. Но я никогда ничего не говорю.

Глава десятая

Закат был красным, даже красновато-лиловым, и на другой день солнце держалось так, как я и рассчитывала; без радио и барометра приходится самой предсказывать погоду. Шел второй день недели, я отсчитывала их в уме, словно делала тюремные насечки на стене; я была в напряжении, как натянутая бельевая веревка, и то, что он еще не объявился, только усиливало вероятность встречи. Седьмой день казался очень далеким.

Я хотела увезти их с острова, чтобы защитить от него, и его от них, уберечь их всех от знания. Они могли приняться обследовать остров, прорубать новые тропы; они уже начинали маяться: две основные обязанности — обеспечивать огонь и еду — выполнялись, и больше ничего не оставалось. Солнце встает, перемещается по небу, тени движутся сами собой, кругом сплошной воздух, никаких четких границ, единственное разнообразие — случайный самолет высоко в небе, оставляющий полоску выхлопа; для них это, наверное, было подобно жизни в лагере.

Утром Дэвид рыбачил с мостков, ничего не поймал; Анна читала уже четвертую или пятую

книжку в мягкой обложке. Я подмела пол, метла была опутана длинными нитями, темными и светлыми, из-под зеркала, где мы с Анной причесывались; потом я попробовала работать. Джо сидел на насыпи, обхватив руками колени, как садовый гном, и смотрел на меня. Стоило мне поднять взгляд, как я видела его глаза, синие, как шариковая ручка или костюм Супермена; даже отвернувшись, я ощущала его рентгеновский взгляд, проникавший мне под кожу, легкое покалывание, будто он преследовал меня. Было трудно сосредоточиться; я перечитала две народные сказки — о короле, который научился разговаривать с животными, и о фонтане жизни, но не продвинулась дальше схематичных набросков фигуры, походившей на футболиста. Предполагалось, что это великан.

— В чем дело? — спросила я у него наконец, откладывая кисточку и сдаваясь.

— Ни в чем, — ответил он.

Джо снял крышку с масленки и стал делать дырки в масле указательным пальцем.

Мне следовало гораздо раньше понять, что происходит, следовало прекратить это еще в городе. Я поступила неправильно, оставшись с ним, он привык к этому, подсел на мою близость,

но я не сознавала этого, как и он. Если ты не можешь уловить разницу между удовольствием и болью, значит, ты в ловушке. Я сделала это с ним, я закармливала его своей пустотой в неограниченных объемах, он был к этому не готов, это оказалось сильнее его, и он заполнил ее собой, подобно тому как люди, изолированные в пустой комнате, начинают видеть узоры.

После ланча они все уселись с выжидательным видом, словно рассчитывая, что я раздам им мелки и пластилин или стану разучивать с ними песни и скажу, во что играть. Я попыталась вспомнить, чем мы занимались в хорошую погоду, когда не было работы.

— А не хотели бы вы, — спросила я, — пособирать чернику?

Получился вроде как сюрприз; работа под видом чего-то другого, нам нужна была игра.

Они клюнули, обрадовавшись чему-то новому.

— Ништяк, — сказал Дэвид.

Мы с Анной сделали сэндвичи с арахисовой пастой для послеполуденного перекуса; затем обработали носы и мочки ушей ее солнцезащитным лосьоном и выдвинулись.

Дэвид и Анна поплыли в зеленой лодке, мы взяли другую, потяжелее. Они все еще не очень

хорошо гребли, но ветра почти не было. Мне приходилось тратить много сил, чтобы не отклоняться от курса, поскольку Джо не умел рулить; к тому же он этого не признавал, что только усложняло задачу.

Мы обогнули каменный мыс, где проходит тропинка; а затем вошли в архипелаг из островков, это были верхушки затопленных холмов, возможно, составлявших когда-то единый хребет, до того как построили плотину. Все эти островки недостаточно велики, чтобы иметь названия; некоторые не более чем утесы с несколькими деревьями, вцепившимися в почву корнями. На одном островке, чуть подальше, гнездились цапли. Мне пришлось хорошенько всмотреться, чтобы различить их: молодняк в гнездах держал свои змеиные шеи с клювами-ножницами неподвижно, прикидываясь сухими ветками. Все гнезда были на одном дереве, белой сосне, сгруппированные для безопасности, как несколько бунгало на отшибе. Если цапли подходят достаточно близко, они дерутся.

— Видишь их? — спросила я у Джо, показывая в ту сторону.

— Чего вижу? — не понял он.

Он перетрудился и потел, мы шли против ветра.

Он нахмурился, глядя в небо, но не смог увидеть цапель, пока одна из них не поднялась, разминая крылья.

За островом цапель был еще один островок, побольше, довольно ровный, с несколькими красными соснами, торчавшими прямо, как мачты, вздымаясь из кустов черники. Мы пристали к берегу и привязали лодки, и я дала каждому по оловянной кружке. Черника только начинала зреть, выделяясь темными гроздьями на зеленом, как первые капли дождя на озере. Я стала двигаться с кружкой вдоль берега, где ягода созревает раньше.

Во время войны (или после?) мы продавали чернику по центу за кружку; но нам было негде тратить деньги, и первое время я не понимала, для чего эти металлические кругляши: на одной стороне листья, на другой — отрубленная мужская голова.

Я стала вспоминать, кто еще собирал чернику, помимо нас. На озере было немного людей даже тогда: правительство эвакуировало всех куда-то в дальние края, но одна семья осталась. Каждый год, когда созревала черника, они появлялись на озере и наведывались в ягодные места, как и мы; они словно возникали из воздуха, пятеро

или шестеро, в видавшей виды лодке: на корме отец, лицо в морщинах и жилах, точно сухой корнеплод, мать, похожая на тыкву, с волосами, стянутыми к затылку, и их дети с внуками. Они проверяли, где сколько черники, с бесстрастным, отстраненным видом, но когда они замечали, что мы собираем ягоду, то плыли дальше, неспешно скользя вблизи берега, и исчезали за мысом или в бухте, словно их и не было. Никто не знал, где они жили зимой; но один раз мы увидели двоих детей, стоявших с краю дороги и продававших чернику в консервных банках. Мне только сейчас пришло на ум, что они должны были нас ненавидеть.

Кусты у берега зашуршали: это был Джо, он подошел и присел у меня за спиной. Он сидел на корточках на камне; его кружка была полна только на треть, с листьями и бело-зелеными ягодами.

— Отдохни, — предложил он.

— Через минуту.

Я почти закончила. Было жарко, поверхность озера слепила; на солнце ягоды были такими синими, словно светились изнутри. Падая в кружку, они плюхались как вода.

— Нам надо пожениться, — сказал Джо.

Я аккуратно поставила кружку на камень и

обернулась к нему, прикрывая глаза. Мне хотелось рассмеяться, так не к месту прозвучали его слова, к тому же это была, как он говорил, не его тема: все эти официальные обороты, бумажки и клятвы, особенно эта категоричность; и он перепутал порядок — он ни разу не спросил, люблю ли я его, что непременно должно предшествовать такому предложению, чтобы я была готова.

— Зачем? — спросила я. — Мы все равно живем вместе. Нам для этого не нужен документ.

— Я думаю, надо пожениться, — сказал он. — Мы ведь можем.

— Но это ничего не изменит, — возразила я. — Все будет так же.

— Тогда почему не сделать этого?

Он придвинулся ближе, он рассуждал логично, он собирался заставить меня. Я вывернулась, надеясь на чью-нибудь помощь, но Анна с Дэвидом были на дальнем конце острова. Розовая рубашка Анны, в обтяжку, переливалась как флажок на бензоколонке.

— Нет, — произнесла я.

Единственное, что я могла противопоставить его логике. Потому что я не хотела соглашаться только затем, чтобы польстить ему, это было бы жертвой с моей стороны, вопреки моим сомнени-

ям, моему нежеланию.

— Иногда, — сказал он, выдавая слова размеренно и обдуманно, словно вставляя кубики в шаблон, — у меня такое ощущение, что тебе начхать на меня.

— Неправда, — сказала я. — Мне не начхать на тебя.

И повторила это снова, как детский стишок.

Я задумалась: можно ли это считать признанием в любви. И стала прикидывать, сколько денег у меня в банке, сколько времени мне понадобится, чтобы собрать вещи и съехать от него, из этого подвала с глиняной пылью и запахом плесени, где полно монструозных гуманоидных горшков, как скоро я смогу найти новое жилье. Говорят, надо доказывать свою любовь. Если ты действительно хочешь замуж, тогда давай трахаться. Если ты действительно хочешь трахаться, тогда давай поженимся. С этим всегда связано ощущение победы, ты как будто размахиваешь флагом на параде, который проходит в твоей голове.

— Начхать, — сказал он. — Я же вижу.

Он был не столько разозлен, сколько подавлен; это было даже хуже — с его злостью я бы справилась. Он разрастался, становясь чужим, в иных измерениях; начиналась паника.

— Послушай, — произнесла я, — я уже была замужем, и это не сработало. У меня даже был ребенок. — Я выложила козырь, не повышая голоса. — Не хочу снова пройти через это.

Это было правдой, но слова выходили из меня словно механически, как из говорящей куклы с веревочкой за спиной; моя речь, такая гладкая и выверенная, напоминала запись. Я бы всегда могла сказать то, что только что сказала: я пыталась и не справилась, у меня прививка против этого, я на особом положении, я пострадавшая. Это не значит, что я не мучилась, я подходила к этому ответственно, но результат неутешительный. Семейная жизнь похожа на игру в «Монополию» или разгадывание кроссвордов: либо твой ум годится для этого, как у Анны, либо нет; и я доказала, что мой не годится. Мой разум — маленькая нейтральная территория.

— У нас все было бы по-другому, — сказал он, игнорируя мои слова о ребенке.

Когда я выходила замуж, мы заполнили бланки: имя, возраст, место рождения, группа крови. Мы сделали это на почте, так решил мировой судья, где с бежевых стен на нас взирали написанные маслом портреты бывших владельцев. Я вспомнила запахи: клей и влажные носки, и запашок от

вчерашней блузки, и минеральный дезодорант недовольной секретарши, и холодок антисептика из других дверей. День был жаркий, и, выйдя на солнце, мы на секунду ослепли; а затем увидели стайку растрепанных голубей, клевавших что-то на истоптанной лужайке за фонтаном. Фонтан был с дельфинами и херувимом, у которого отсутствовала часть лица.

— Вот и все, — сказал он. — Тебе уже лучше? — он обхватил меня за плечи, защищая от чего-то — от будущего, — и поцеловал в лоб. — Ты холодная, — заметил он.

У меня так дрожали ноги, что я с трудом могла стоять, и я ощущала боль, тягучую, словно стон.

— Ну, пойдем, — добавил, — лучше отвезти тебя домой. — Он запрокинул мое лицо, пристально изучая его на свету. — Наверное, я донесу тебя до машины.

Он говорил со мной как с инвалидом, а не с невестой. В одной руке у меня была сумочка или чемоданчик; другую я прижала к себе. Мы прошли через голубей, и они вспорхнули вокруг нас, как конфетти. В машине я не плакала, я не хотела смотреть на него.

— Знаю, это нелегко, — сказал он, — но так будет лучше.

Это можно цитировать. Его гибкие руки на руле. Он повернулся, описав идеальный круг, и сцепление схватилось и закрутилось; двигатель тикал как часы, голос разума.

— Зачем ты делаешь это со мной? — спросила я, теряя самообладание. — Ты все испортишь.

Потом я жалела об этом, как будто случайно наступила на маленького зверька, он был таким жалким: он отрекся, предал то, что я считала его принципами, чтобы спастись — через меня, за счет меня, — и у него ничего не вышло.

Я взяла его за руку; он не убрал ее, только нахмурился, глядя на меня как побитый пес.

— Я не гожусь для тебя, — сказала я.

Мой девиз, напечатанный на свитке как предсказание из печенья. Я поцеловала его в подбородок сбоку. Я тянула время, а кроме того, боялась его: когда я отстранилась, он окинул меня взглядом, полным скрытой ярости.

Мы сидели перед домом, за сеткой; Джо был в песочнице, почти отвернувшись от нас, и набирал большую песчаную горку. Он уже прикончил свой пирог, а мы еще ели. В доме было слишком жарко, нам пришлось палить духовку два часа. У всех были лиловые рты и синие зубы, обнажавшиеся при разговоре или смехе.

— Это лучший пирог, что я когда-либо ел, — признался Дэвид. — Прямо как мама готовила.

Он причмокнул и вскинул голову, изображая телерекламу.

— Да ну тебя, — отмахнулась Анна. — Ты не расщедришься даже на один паршивый комплимент, да?

Дэвид ухмыльнулся лиловым ртом.

— Ой, — сказал он. — Вообще-то, это и был *комплимент*.

— Иди к черту, — бросила Анна. — Я знаю твою маму.

Дэвид вздохнул и откинулся спиной на дерево, закатив глаза в сторону Джо, ища его поддержки. Но Джо было не до него, и Дэвид возвел очи горе.

— Такова жизнь, — сказал он после недолгого молчания. — Нам нужно основать здесь колонию, то есть сообщество вместе с другими людьми, отделиться от городской ядерной семьи. Это была бы неплохая страна, если бы мы только вышибли гребаных американских свиней, а? Тогда бы у нас мог быть какой-то мир.

Ему никто не ответил; он снял одну туфлю и стал с задумчивым видом чесать пятку.

— Думаю, это просто отмазка, — сказала вдруг Анна.

— В смысле? — уточнил Дэвид подчеркнуто спокойно, словно она перебила его, не дав завершить предложение. — Вышибить свиней?

— Ё-моё, — сказала Анна, — да это пустые слова.

— О чем ты, мля, вообще говоришь? — он словно обижался.

Но она молчала, сидела, обхватив колени, и курила, выпуская дым через ноздри. Я встала и принялась собирать тарелки.

— Меня заводит, когда она так наклоняется, — сказал Дэвид. — Четкая у нее задница. Я большой ценитель задниц. Джо, ты не думаешь, что у нее четкая задница?

— Можешь забирать, — бросил Джо.

Он, все еще злясь, выравнивал песчаную горку, которую построил.

Я высыпала остатки крошек в духовку и вымыла тарелки, окрасив воду красновато-синим, как вены. Ввалились остальные и расселись за столом; они были не в настроении для бриджа и принялись читать детективы и старые номера альманахов «Маклинз» и «Нэшнл джиографик», причем некоторые десятилетней давности. Я читала их все, так что просто взяла свечку и ушла в комнату Дэвида и Анны в поисках других

номеров.

Я забралась на кровать, чтобы достать до полки. Там была стопка книг; я сняла ее и поднесла поближе к свечке. Сверху лежали романы в бумажных обложках, обычное чтиво, но под ними оказалось кое-что, чего я там совсем не ожидала увидеть: коричневый кожаный фотоальбом, который должен был валяться на городской помойке вместе с нетронутыми свадебными подарками мамы — потускневшей серебряной посудой и кружевными скатертями, — и альбомы, в которых мы рисовали, когда шел дождь. Я думала, она их выбросила; мне стало интересно, кто принес их сюда, кто из них.

Альбомов было несколько; я уселась на кровать и открыла первый попавшийся, с таким чувством, словно открываю чей-то личный дневник. Это был альбом брата: взрывы красным и оранжевым, солдаты, разрывающиеся в воздухе, самолеты и танки; в то время он, наверное, ходил в школу и знал достаточно, чтобы рисовать маленькие свастики на боках армейских машин. Дальше были летающие люди с капюшонами, как в комиксах, и исследователи другой планеты — он часами разъяснял мне эти картинки. Лиловые джунгли, которые я забыла, зеленое солнце

с семью красными лунами, животные с чешуей, и гребнями, и щупальцами; и растение-людоед, заглатывавшее неосторожную жертву, изо рта которой выходил пузырь, похожий на жвачку, со словом «ПОМОГИТЕ». Другие исследователи спасали напарника, используя свое оружие: огнеметы, пистолеты с раструбами, лучевые пушки. На заднем плане виднелся их космический корабль, пестревший приборами.

Следующий альбом был моим. Я внимательно просмотрела его, выискивая что-нибудь такое, в чем могла бы узнать себя: откуда я пришла или где свернула не туда; но в альбоме совсем не было рисунков, только вклеенные иллюстрации, вырезанные из журналов. Это были фотографии разных «леди»: с банками моющих средств, за вышиванием, они улыбались, демонстрируя туфли на шпильках с открытым мыском и нейлоновые чулки с темными швами, а еще — шляпки-таблетки с вуалью. Леди — это тот образ, который ты одевала на Хеллоуин, когда не могла придумать ничего лучше, а быть привидением не хотелось; а еще ты прибегала к нему в школе, когда тебя спрашивали, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, и ты говорила: леди или мамой — и то, и другое было безопасно; и это не было ложью,

я действительно хотела этого. На некоторых страницах были женские платья, вырезанные из почтовых каталогов, одни платья.

Я открыла другой альбом: тоже мой, более ранний. Там были рисунки ярко раскрашенных пасхальных яиц, по одному и кучками. Некоторые были с человекообразными кроликами, залезающими на них по веревочной лестнице; кролики, по-видимому, жили в яйцах, поскольку сверху на них были дверцы, и кролики могли втянуть за собой лестницы. Там имелись яйца и поменьше, соединенные с большими мостиками, — это были нужники. Страница за страницей были изрисованы яйцами и кроликами, травой и деревьями, нормальными и зелеными, с цветами вокруг них, и на каждом рисунке в верхнем правом углу светило солнце, а в левом на том же месте — луна. Все кролики улыбались, а некоторые надрывно смеялись; несколько кроликов ели мороженое, восседая на пасхальных яйцах. Никаких монстров, войн, взрывов, никакого героизма. Я совершенно не помнила, чтобы рисовала эти картинки. Я разочаровалась в себе: «по-видимому, в детстве я была гедонисткой», — подумала я, и весьма заурядной, не увлеченной ничем, кроме внешнего благополучия. Но, возможно, это было

мое видение Рая.

Кто-то вошел в комнату у меня за спиной. Это был Дэвид.

— Эй, леди, — сказал он, — что ты делаешь в моей постели? Ты клиент или как?

— Извини, — попросила я.

Я положила фотоальбом обратно на полку, но альбомы с рисунками забрала к себе в комнату и засунула под матрас — я не хотела, чтобы друзья увидели их.

Глава одиннадцатая

Ночью Джо не поворачивался ко мне — он не собирался мириться. Я провела пальцами по его волосатой спине, давая понять, что хочу перемирия, чтобы наши границы вернулись на прежнее место, но он оттолкнул меня, недовольно что-то промычав, и я оставила его в покое. Я устроилась поудобнее и постаралась отключиться от мыслей о нем: он был в кровати всего лишь чем-то случайным, вроде рюкзака или большой репы. Как говорил отец, есть разные способы ободрать кошку; меня это озадачивало — я не понимала, зачем кому-то обдирать кошку хотя бы одним способом. Я уставилась в стену и стала вспоминать поговорки: как ты со мной, так и я с тобой; жениться впопыхах — жить в грехах; меньше слов, больше дела — расхожая мудрость, от которой нет никакой пользы.

За завтраком он игнорировал меня, как и остальных, склонившись над своей тарелкой и отвечая сквозь зубы.

— Что это с ним? — спросил Дэвид.

Он отпускал бороду, появилась бурая поросль на подбородке.

— Тихо ты, — сказала Анна.

Но при этом взглянула на меня вопросительно, возлагая на меня ответственность за разлад, в чем бы ни была причина.

Джо вытер рот засаленным рукавом рубашки и вышел из дома, не позаботившись придержать сетчатую дверь на пружине.

— Может, у него запор? — предположил Дэвид. — Люди от него куксятся. Ты уверена, что он как следует испражняется? — и хохотнул пару раз, как моряк Попай, оттопырив уши.

— Дуралей, — Анна с нежностью взъерошила его волосы.

— Эй, не делай так, — сказал он, — а то все выпадут.

Он подскочил к зеркалу и пригладил волосы, уложив как прежде; раньше я не замечала, что он прикрывает намечавшуюся лысину.

Я собрала шкурки от бекона и хлебные крошки и вынесла птицам. Там были сойки, они увидели, что я несу еду и сообщили остальным резким чириканьем. Я тихо стояла, вытянув руку, но они не подлетали; они пикировали надо мной, проводя разведку. Может, я шевелилась незаметно для себя — нужно было убедить их, что ты просто вещь и не представляешь опасности. Наша мама это

умела — мы смотрели на нее из окна; она говорила, что мы их пугаем. Когда-то люди верили, что полет птиц несет в себе знамение — ауспиция.

Я услышала комариное жужжание лодочного мотора, высыпала крошки на поднос и пошла на мыс смотреть. Это была лодка Поля, белая и неказистая, самодельная; он помахал мне с кормы. С ним был еще один человек, сидевший на носу спиной вперед.

Они причалили к мосткам, и я сбежала к ним по ступенькам; поймав канат, привязала лодку.

— Осторожно, — сказала я им, когда они стали выбираться на мостки, — тут кое-где дерево прогнило.

Поль привез мне здоровый куль овощей со своего огорода: он вручил мне букет листовой свеклы, ведерко зеленой фасоли, пучок моркови, цветную капусту, большущую, точно мозг, причем сделал это с чрезвычайно смущенным видом, словно боялся, что я могу отказаться. По сложившейся традиции мне полагалось вручить ему в ответ аналогичную кучу со своего огорода. Я подумала с досадой о хилой капусте и редиске, уже пошедшей на семена.

— Вот человек, — сказал он. — Его направляют мне, потому что знаю твоего отца.

Он отступил назад, устраняясь, и едва не свалился с мостков.

— Малмстром, — произнес человек, словно назвал базу ВВС, и вскинул руку в мою сторону.

Я переместила листовую свеклу к локтю и, протянув руку, ответила на доверительное пожатие.

— Билл Малмстром. Пожалуйста, зовите меня Билл.

У него были коротко стриженные седые волосы и аккуратные усы, как в рекламе рубашек или водки; одежда на нем была походная, довольно поношенная, — выглядел он человеком бывалым. На шее у него висел бинокль в замшевом футляре.

Мы прошли к берегу, он вынул трубку и стал раскуривать ее. Я подумала, не из правительства ли он.

— Поль тут рассказывал мне, — начал он, оглядываясь на Поля, — какое у вас замечательное место.

— У моего отца, — уточнила я.

На его лице отразилось наигранное соболезнование; если бы он был в шляпе, то снял бы ее.

— Ах да, — сказал он. — Такая трагедия.

Я ему не доверяла: я не могла определить его акцент, но фамилия казалась немецкой.

— Откуда вы? — спросила я, стараясь быть вежливой.

— Мичиган, — сказал он так, словно этим стоило гордиться. — Я член детройтского филиала Ассоциации охраны дикой природы Америки; у нас есть филиал в этой стране, довольно-таки успешный филиальчик. — Он ухмыльнулся мне, ища расположения. — На самом деле я как раз хотел поговорить с вами об этом. Наше заведение на озере Эри, э-э… как бы это сказать, прогорает. Полагаю, я могу говорить от лица всех мичиганских членов, что мы готовы сделать вам предложение.

— Какое предложение? — спросила я.

Он говорил таким тоном, словно хотел продать мне что-то — журнал или членский билет.

Он очертил своей трубкой дугу.

— Это чудесное владение, — сказал он. — Что бы мы тут сделали, так это нечто вроде дома отдыха, где наши члены могли бы медитировать и созерцать, — он выпустил дым, — природные красоты. И, может быть, немного охотиться и рыбачить.

— Вы хотите это осмотреть? — спросила я. — Ну, дом и остальное.

— Должен признаться, я уже все видел; мы с

некоторых пор присматриваемся к этому месту. Я много лет выбираюсь сюда порыбачить и взял на себя смелость, когда здесь, похоже, никого не было, побродить по окрестностям.

Он сдержанно хохотнул, этакий благонамеренный вуайерист, застигнутый с поличным; а затем назвал цену, которая позволила бы мне забыть о «Квебекских народных сказках» и детских книжках и обо всем прочем, по крайней мере, на какое-то время.

— Вы хотите что-то переделать? — спросила я.

Я представила мотели, многоэтажки.

— Ну, нам, конечно же, понадобится установить электрогенератор и септический отстойник; но в остальном — нет, я полагаю, мы захотим оставить все по-прежнему, в этом есть определенное, — он огладил усы, — сельское очарование.

— Сожалею, но участок не продается, — сказала я, — не сейчас; может, потом.

Если бы отец не был мертв, он бы, возможно, принял подобное предложение, но если он вернется сюда и обнаружит, что я продала его дом, то придет в бешенство. В любом случае у меня не было уверенности, что я буду владелицей всего этого. Это предполагало неведомые мне свидетельства о сделке, документ на собственность,

официальные бумаги, а я никогда не имела дел с адвокатами; мне бы пришлось подписывать какие-то бланки или уставные ведомости и, возможно, выплачивать налог на наследство.

— Что ж, — произнес он с любезностью проигравшего. — Я уверен, предложение будет еще в силе, можно сказать, неопределенный срок.

Он достал бумажник и дал мне визитку, на которой значилось: «Билл Малмстром, Тини-таун, Вещи для ползунов и карапузов».

— Спасибо, — сказала я, — буду иметь в виду.

Я взяла Поля под руку и отвела в огород, будто бы для овощного бартера: я чувствовала, что обязана объяснить сложившуюся ситуацию, по крайней мере, ему, ведь у него из-за меня столько беспокойства.

— Ваша огород, она не так хорошо поживает, а? — спросил он, осматривая растительность.

— Да, — ответила я. — Мы только что пропололи его, но я хочу, чтобы вы взяли…

Я в отчаянии осмотрелась, вырвала вялый латук и протянула ему, с корнями и прочим, со всей признательностью, на которую была способна.

Он взял его, моргнул озадаченно.

— Мадам понравится, — сказал он.

— Поль, — произнесла я тише, — я не могу про-

дать участок по той причине, что отец еще жив.

— Да? — он оживился. — Он вернулся, он здесь?

— Не совсем, — сказала я. — Прямо сейчас он в отлучке, как бы в походе; но, возможно, скоро вернется.

Я почти не сомневалась, что отец мог слушать нас в этот самый момент, притаившись в малиннике или за отвалом.

— Он пошел за деревьями? — спросил Поль, обижаясь, что отец к нему не обратился: они ходили вместе. — Ты видела его сперва, раньше?

— Нет, его здесь не было, когда я пришла; но он оставил мне записку, в некотором смысле.

— А… — Поль бросил настороженный взгляд в лес позади меня.

Было ясно, что он мне не верит.

На ланч мы ели цветную капусту Поля и кое-что из консервов, кукурузу и жареную ветчину. Когда мы приступили к баночным грушам, Дэвид спросил:

— Кто были те два старикана?

Должно быть, он видел их из окна.

— Один из них хотел купить это место, — ответила я.

— Готов спорить, это был янки, — сказал Дэ-

вид, — я их за милю чую.

— Да, — подтвердила я, — но он из ассоциации по дикой природе, он для них хотел купить.

— Чушь собачья, — усмехнулся Дэвид, — он подставная пешка ЦРУ.

Я рассмеялась.

— Нет, — сказала я и достала визитку «Тинитауна».

Но Дэвид был настроен серьезно.

— Ты не видела их в деле, как видел я, — бросил он мрачно, намекая на свое нью-йоркское прошлое.

— Что им может здесь понадобиться? — задумалась я.

— База, которую они построят, чтобы совать нос в чужие дела, — сказал он, — наблюдать за воздушной обстановкой с биноклями — не одно, так другое. Они знают, что это такое место, которое может иметь стратегическую важность во время войны.

— Какой войны? — спросила я.

— Ну, начинается, — сказала Анна.

— Это же очевидно. У них вода на исходе, чистая вода, они загрязняют все свои водоемы, так? А у нас воды в избытке, эта страна — почти сплошь вода, если посмотрите на карту. Так что скоро

— я даю десять лет — они окажутся в отчаянном положении. Они попытаются заключить сделку с правительством, чтобы мы обеспечили их дешевой водой в обмен ни на что, на новые мыльные хлопья или что-то в этом роде, и правительство уступит, они будут кучкой марионеток, как обычно. Но к тому времени Националистическое движение станет такой силой, что заставит правительство отказать им; бунты, или киднеппинг, или что-то еще. Тогда свиньи-янки пошлют морпехов, им придется; люди в Нью-Йорке и Чикаго будут дохнуть как мухи, промышленность встанет, возникнет водный черный рынок, воду будут везти танкерами с Аляски. Они пойдут через Квебек, который к тому времени разделится; «Пепси» им даже помогут, они будут, как всегда, смотреть и посмеиваться. Они ударят по большим городам и выведут из строя коммуникации, возьмут власть в свои руки, может, пострелляют подростков, и тогда ветераны движения уйдут в леса и начнут взрывать водопроводы, которые будут строить янки в таких местах, как это, чтобы провести туда воду.

Он говорил с такой убежденностью, как будто это уже происходило. Я подумала о руководствах по выживанию: если ветераны движения были

похожи на Дэвида и Джо, они ни за что не выживут здесь зимой. Они не смогут получить помощь из городов, они заберутся слишком далеко, а местным будет все равно, они не станут возражать против очередной смены флага. Если они попробуют устроить набеги на отдаленные фермы, фермеры пойдут на них с ружьями. Американцам даже не придется ничего предпринимать — партизаны и так перемрут от голода и холода.

— Где ты достанешь еду? — спросила я.

— Что значит «ты»? Я просто размышляю.

Я представила, как об этом напишут потом в учебниках по истории: абзац с датами и кратким сообщением о произошедшем. Как это было в школах, с их нейтральной подачей: длинный перечень войн, и соглашений, и альянсов, и людей, получающих и теряющих власть над другими людьми; но никто никогда не станет разбирать мотивы, кто чем руководствовался, кто был прав, а кто виноват. Учителя произносили умные слова, вроде «демаркация» и «суверенитет», и не объясняли, что они значат, а мы не спрашивали: в средней школе полагалось сидеть, не моргая уставившись на учителя, как на киноэкран, и всякий вопрос был чреват, особенно для девочки. Если мальчик что-то спрашивал, другие маль-

чики издавали губами неприличные звуки, но если спрашивала девочка, другие девочки говорили ей потом в умывальной: «Думаешь, самая умная?» На полях параграфа с Версальским договором я рисовала узоры, растения с извилистыми ветвями, с сердечками и звездами вместо цветов. Я научилась рисовать незаметно, едва двигая пальцами.

Генералы в исторические моменты лучше смотрелись на картинах в рамках. Если поднести глаза к фотографии достаточно близко, она растворяется в серые точки.

Анна сидела на скамейке позади Дэвида, пока он витийствовал, и играла с его рукой.

— Я когда-нибудь говорила, что у тебя большой палец убийцы? — спросила она.

— Не перебивай, — сказал он, но, когда она взглянула на него несчастными глазами, он кивнул: — Ага, говорила, чуть не каждый день. — И похлопал ее по руке.

— Он сплюснутый на конце, — пояснила она нам с Джо.

— Надеюсь, ты на это не купилась, — сказал Дэвид мне.

Я покачала головой.

— Умница, — похвалил он, — сердце у тебя на

месте. И остальное тоже, — сказал он Джо. — Мне нравится все округлое и упругое, чтобы выпирало. Анна, ты слишком много ешь.

Я мыла посуду, а Анна вытирала, как обычно. Неожиданно она сказала:

— Дэвид подлюга. Он один из самых подлючих типов, кого я знаю.

Я озадаченно взглянула на нее: ее голос царапал, как ногти, я никогда еще не слышала, чтобы она так говорила о Дэвиде.

— Почему? — поинтересовалась я. — Что случилось?

Он ничего не сказал за ланчем такого, что могло бы расстроить ее.

— Думаю, ты заметила, что он запал на тебя.

Она втянула губы и опустила уголки, став похожей на лягушку.

— Нет, — я была поражена. — С чего ты решила?

— Ну, эти его слова про твою задницу и чтобы все выпирало, — сказала она нервозно.

— Я думала, он дурачится.

Я действительно думала, что это просто такая привычка, как ковыряться в носу, только словесная.

— Дурачится, блин. Он уже поступал так со

мной. Он вечно ведет себя так с другими женщинами в моем присутствии, он бы и приходовал их рядом со мной, если бы мог. Но он делает это где-то еще, а потом рассказывает мне.

— О-о… — мне такое не приходило в голову. — Зачем? То есть зачем он тебе рассказывает?

Анна поникла, ее полотенце обвисло.

— Он называет это честностью. Скотина. Когда я бешусь, он говорит, что я ревную и веду себя как собственница и что я не должна психовать из-за этого, он говорит, ревность — буржуазный пережиток, отголосок морали собственника, он считает, мы все должны быть свингерами и не скрывать этого. Но я говорю, что есть фундаментальные эмоции, если ты что-то чувствуешь, ты должен проявлять это, так? — Это было ее символом веры, и она пристально посмотрела на меня, требуя, чтобы я признала его или отвергла; но я не знала, что сказать, и промолчала. — Он делает вид, что не чувствует ничего такого, он крутой, — продолжила она, — но на самом деле он просто хочет показать мне, что может так вести себя и ему за это ничего не будет, я не могу помешать ему; все теории на этот счет — сплошное сраное дерьмо. — Она подняла голову, улыбаясь снова по-дружески. — Я подумала, нужно тебя преду-

предить, чтобы ты знала: если он прижмет тебя или что-то в этом роде, дело не столько в тебе, это все из-за меня на самом деле.

— Спасибо, — сказала я.

Мне было жаль, что она рассказала мне это; мне по-прежнему хотелось верить, что так называемый хороший брак реален для кого-то. Но с ее стороны это был добрый поступок, забота; я понимала, что сама на ее месте ничего бы не сказала другой, решила бы, пусть сама справляется. В такой заботе мне виделось что-то от зоопарка или приюта для умалишенных.

Глава двенадцатая

Ведро для мусора было полным; я вынесла его в огород, чтобы вылить грязную воду в канаву. Джо лежал на мостках один, лицом вниз; когда я подошла сполоснуть ведро, он не пошевелился. По дощатому настилу мимо меня прошла Анна в оранжевом бикини, она уже намазалась маслом для непременной солнечной ванны.

Вернувшись в домик, я убрала ведро под стойку. Рядом Дэвид рассматривал свою щетину в зеркале; он приобнял меня одной рукой и пробасил с креольским акцентом, изображая жиголо:

— Падем са мной в кабиньку.

— Не сейчас, — сказала я, — мне нужно поработать.

Он изобразил сожаление:

— Ну, что же, тогда в другой раз.

Я достала свой чемоданчик «Самсонит» и села за стол. Дэвид навис над моим плечом.

— А где старина Джо?

— На мостках, — ответила я.

— Он как будто не в своей тарелке, — заметил Дэвид. — Может, у него глисты; когда вернетесь в город, тебе надо показать его ветеринару. — И

добавил через пару секунд: — Почему ты никогда не смеешься моим шуткам?

Он еще поторчал рядом со мной, пока я молча доставала кисточки и бумагу. Но наконец сказал:

— Что ж, природа зовет.

И вышел вальяжной походкой, словно актер водевиля со сцены.

Я плотнее закрутила колпачки на тюбиках с краской — я не собиралась работать: теперь, когда мне никто не мешал, я решила заняться поисками завещания, документа с печатью, на собственность. Поль был уверен, что отец мертв, и это лишало меня уверенности в собственной правоте. Возможно, с отцом разделалось ЦРУ, чтобы завладеть этой землей, — мистер Малмстром не внушал доверия; но это казалось бредом, нельзя же подозревать кого-то без всякой причины.

Я все перерыла под скамейкой у стены, прошлась по полкам, пошарила под кроватями, где хранились палатки. Отец мог положить бумаги в депозитную ячейку еще раньше, в городском банке, тогда я никогда их не найду. Еще он мог сжечь их. Так или иначе, здесь их не было.

Если только он не засунул их между страницами книги. Я взяла за корешок и потрясла Голдсмита и Бернса. Потом я подумала о его

безумных рисунках, дававших надежду найти подсказку, что он еще жив. Я так и не просмотрела их все. В каком-то смысле было бы логично что-то спрятать именно в них; он всегда опирался на логику, а безумие лишь обнажает твою истинную сущность.

Сняв с полки стопку рисунков, я стала смотреть. Бумага была тонкой и мягкой, как рисовая. Сперва я увидела руки и рогатые фигуры, а в уголках были нацарапаны цифры, потом попался лист побольше, с месяцем с четырьмя палочками, торчащими вбок, с округлыми головками. Я расправила лист, повернула в соответствии с цифрами, и месяц превратился в лодку, а палочки с головками — в человечков. Меня обнадежило, что я могу разобраться в этом, найти какой-то смысл.

Но следующий рисунок меня озадачил. Существо с длинным телом змеи или рыбы; с четырьмя ногами или руками и хвостом, а на голове — два ветвящихся рога. По горизонтали изображение напоминало животное, вроде аллигатора; по вертикали — походило на человека, но только из-за расположения рук и смотрящих вперед глаз.

Полное помешательство. Я задумалась, когда же это началось; должно быть, его доконал снег и

одиночество, он зашел слишком далеко; безумие проникает через глаза, когда черные холодные ночи в середине зимы чередуются с белыми днями, залитыми солнечным светом, все вокруг тает и вновь замерзает, принимая различные формы, и то же самое начинает твориться с твоим разумом. Он рисовал то, что видел, галлюцинации; или, возможно, таким он видел себя, тем, в кого превращался.

Я перевернула страницу. Но вместо рисунка вдруг увидела напечатанное письмо и быстро пробежала его глазами. Оно было адресовано отцу.

Уважаемый сэр!

Премного благодарен за присланные фотографии, кальки и соответствующую карту. Данный материал представляет большую ценность, и я включу часть его в мою грядущую работу по данному предмету, с Вашего разрешения и с подобающим указанием. Сведения о любых последующих открытиях, которые вы можете сделать, будут всячески приветствоваться.

Прилагаю копию одного из моих недавних исследований, которое Вы можете найти интересным.

Искренне Ваш…

Внизу стояла неразборчивая подпись и герб университета. К письму были прикреплены скрепкой полдюжины отксеренных страниц: «Наскальная живопись центрального шельфа, доктор Робин М. Гроув». На нескольких первых страницах были карты и графики со статистическими данными, я быстро просмотрела их. Завершали статью три коротких абзаца, озаглавленные: «Эстетические качества и возможное значение».

Данный вопрос подпадает под следующие категории: руки, абстрактные символы, люди, животные и мифологические существа. По своей манере, с этими удлиненными членами и предельной искаженностью, они напоминают детские рисунки. Статичная инертность составляет отчетливый контраст наскальным рисункам других культур, главным образом, европейским пещерным рисункам.

По вышеназванным чертам мы можем заключить, что создатели этих рисунков интересовались исключительно символическим значением в ущерб экспрессивности и форме. Так или иначе, мы можем только высказывать предположения относительно природы этого значения, учитывая отсутствие исторических источников.

Опрошенные информаторы упоминали противоположные традиции. Некоторые уверяют, что места, где есть рисунки, являются обиталищами духов силы или оберегающих духов, что может объяснять обычай, до сих пор существующий в отдаленных областях, оставлять подношения в виде одежды и маленьких связок «молитвенных» палочек. Более убедительной выглядит теория, согласно которой эти рисунки связаны с практикой воздержания от пищи с целью получения имеющих реальное значение или пророческих сновидений.

Вызывает сомнения и применявшаяся техника. Эти рисунки, похоже, были выполнены либо пальцами, либо простейшей кистью. Превалирующий цвет — красный, с редкими вкраплениями белого и желтого; это может объясняться либо тем, что красный у индейцев является сакральным цветом, либо относительной доступностью окислов железа. Связующее вещество изучается; им может оказаться медвежий жир или птичьи яйца, а возможно, кровь или слюна.

Сухая академическая проза изменила многое — моя гипотеза рассыпалась в прах. Вот оно, решение, разъяснение: он никогда не упускал возможности объяснить свои действия.

Значит, эти рисунки не плод его фантазии, он просто их срисовал. Должно быть, это было для него чем-то вроде хобби на пенсии, он был неисправимый любитель и энтузиаст: если увлекся этими наскальными рисунками, то наверняка прочесал всю округу, снимая их своей камерой и заваливая письмами любого специалиста, которого ему случалось разыскать; стариковское заблуждение о своей полезности.

Я надавила пальцами на глаза — сильно, чтобы чернота вспыхнула буйным многоцветьем. Высвобождение, снова прилив красного, резкий, как боль. Секрет почти раскрылся, он никогда и не был секретом, это я его выдумала, так было проще. Мои глаза открылись, я стала складывать бумаги.

Вероятно, я понимала это с самого начала и мне не нужно было ничего выяснять. Это убило его. Теперь у меня было неоспоримое доказательство его здравомыслия и, следовательно, смерти. Облегчение, скорбь — я должна была ощутить одно или другое. Пустота, разочарование: безумцы могут вернуться, куда бы они ни забрели в поисках убежища, но мертвые не могут, им нельзя. Я попыталась вспомнить его, нарисовать в уме его лицо, каким он был при жизни, но не смогла; все,

что я сумела увидеть, — это карточки, с помощью которых он тестировал нас: 3 x 9 =? Теперь он стал чем-то вроде этого недостающего числа, нулем, знаком вопроса на месте отсутствующего ответа. Неизвестным качеством. Как это в его духе. Все нужно измерить.

Я сидела, уставившись на рисунки в обрамлении моих рук, параллельно лежавших на столе. Снова заметив их, я почувствовала: остался пробел, что-то неучтенное, что-то, оставленное за бортом.

Я расправила на столе первые шесть листов и рассмотрела их, задействуя то, что принято называть интеллектом, отключив все постороннее. Очевидно, эти заметки и цифры скрывали код местоположения, словно это была загадка, которую он оставил мне, арифметическая задача; он учил нас арифметике, а мама учила читать и писать. Геометрия: первое, что я усвоила, это как рисовать цветы с помощью компаса, словно кислотные узоры. Когда-то считалось, что таким образом можно увидеть Бога, но все, что я видела, — это пейзажи и геометрические формы; с таким же успехом можно было верить, что Бог — это гора или круг. Отец говорил, что Иисус — историческая фигура, а Бог — суеверие, а суеве-

рие — то, чего не существует. Если сказать своим детям, что Бога не существует, это заставит их поверить в то, что ты сам бог, но что произойдет, когда они поймут, что ты все-таки человек, что ты состаришься и умрешь? Воскрешение — это как с растениями: Иисус Христос сегодня восстает — так поют в воскресной школе, празднуя цветение нарциссов; но люди не луковицы, как объяснял отец, они остаются под землей.

Цифры составляли систему, игру; я сыграю в нее с ним, чтобы он казался не таким мертвым. Разложив листы в ряд, я сличила заметки — тщательно, словно ювелир.

На одном из рисунков с очередной рогатой фигурой я наконец разглядела подсказку, узнав название — Озеро белых берез, куда мы ходили ловить мелкую рыбешку, отделенное от основного озера переправой. Я зашла в комнату Дэвида и Анны, где к стене была приколота карта. На мысу стоял маленький красный крестик с цифрой, совпадающей с цифрой на рисунке. Название на карте было другим, «Lac des Verges Blanches»[25], правительство переводило все английские названия на французский, хотя индейские оставались

---

[25] Примечания: 25
Озеро белых деревьев *(фр.)*.

без изменений. Тут и там были разбросаны и другие крестики, как на карте сокровищ.

Мне захотелось пойти туда и проверить, сравнить рисунки с особенностями местности; тогда я бы уверилась, что все сделала правильно. Я могла бы устроить это под видом рыбалки, Дэвид так ничего и не поймал после того раза, хотя пытался. У нас будет время выбраться туда и вернуться, и еще останется два дня.

Я услышала голос Анны — она что-то напевала, приближаясь к дому, но замолкла при подъеме по лестнице. Я вышла в общую комнату.

— Привет, — сказала Анна. — Похоже, что я обгорела?

Она порозовела, как будто ее ошпарили водой, из-под краев оранжевого купальника выглядывала белая кожа, а шея служила своеобразным разделителем цвета между телом и лицом с нанесенным макияжем.

— Немножко, — сказала я.

— Слушай, — произнесла она, и в ее голосе появилась озабоченность, — что такое с Джо? Я была на мостках, рядом с ним, и он не сказал ни единого слова.

— Он неразговорчивый, — напомнила я.

— Знаю, но тут другое. Он просто лежал там.

Она давила на меня, требуя ответов.

— Он думает, нам надо пожениться, — призналась я.

Ее брови взлетели вверх, как антенны.

— Правда? Джо? Это так не…

— А я не хочу.

— Ох, — сказала она, — тогда это ужасно. Ты, наверное, ужасно себя чувствуешь.

Узнав то, что хотела, она принялась втирать в плечи лосьон после загара.

— Намажешь? — и она протянула мне пластиковый тюбик.

Я не чувствовала себя ужасно; на самом деле я вообще не чувствовала ничего особенного, причем уже давно. Возможно, я была такой всегда, это мое врожденное свойство, вроде глухоты или отсутствия кожной чувствительности; но в таком случае я бы не замечала этого недостатка. В какой-то момент у меня как будто пропала шея, словно пруд замерз или затянулась рана, и я оказалась закрыта в своей голове; с тех пор меня ничто не трогает, как будто я в бутылке, или в деревне, где я видела людей, но не слышала, поскольку не понимала, что они говорят. Бутылки и прочие емкости искажают видимость с обеих сторон: лягушки в банке растягиваются

в ширину, и, думаю, я тоже представляюсь им в искаженном виде.

— Спасибо, — сказала Анна. — Надеюсь, не облезу. Думаю, тебе надо поговорить с ним или что-то в этом роде.

— Я пробовала.

Но в ее глазах читался укор: я недостаточно сделала для примирения, заглаживания своей вины. Я послушно пошла к двери.

— Может, вы все разрулите, — бросила она мне вслед.

Джо все еще был на мостках, только теперь сидел на краю, свесив ноги в воду, и я уселась позади него. На пальцах ног у него росли темные волоски, напоминавшие иголки на веточке бальзама.

— В чем дело? — спросила я. — Ты заболел?

— Ты отлично, мать твою, знаешь, — ответил он через минуту.

— Давай вернемся в город, — предложила я, — и будем жить как раньше.

Я взяла Джо за руку — широкая ладонь загрубела от гончарного круга и цемента.

— Ты водишь меня за нос, — сказал он, по-прежнему не глядя на меня. — Все, чего я хочу, — это прямой ответ.

— На какой вопрос?

Вблизи мостков было несколько водомерок, державшихся за счет поверхностного натяжения; на песчаном дне лежали легкие тени, образуемые искривлением воды под их лапками, тени двигались одновременно с насекомыми. Его ранимость смущала меня, он все еще обижался, мне нужно было относиться к нему бережнее.

— Ты любишь меня? Вот и все, — сказал он. — Это все, что имеет значение.

Все опять упиралось в язык, который я не могла использовать, поскольку он не был моим. Должно быть, Джо знал, о чем говорил, но это слово было неточным; у эскимосов есть пятьдесят два обозначения снега, потому что это для них важно — и для любви должно быть не меньше.

— Я хочу полюбить тебя, — сказала я. — И по-своему люблю.

Я попыталась вспомнить, как можно назвать чувство, которое соответствовало бы моим словам. Мне действительно хотелось полюбить его, но это было все равно как думать, что Бог должен существовать, и быть не в силах в это поверить.

— Иисус-дристос. — Он убрал свою руку. — Просто да или нет, не ходи кругами.

— Я пытаюсь говорить правду, — сказала я.

Мой голос не был моим, он будто принадлежал незнакомке, одетой в мою одежду, притворявшейся мной.

— Правда в том, — произнес он с горечью, — что ты считаешь мою работу дерьмом, а меня — неудачником, ты думаешь, что я этого не стою.

Его лицо искривилось от боли — я ему завидовала.

— Нет, — возразила я, но не смогла правильно выразить свою мысль, и он нуждался в чем-то большем. — Поднимайся в хижину, — сказала я; там была Анна, она бы помогла. — Я сделаю чай.

Я встала, но он не сдвинулся с места.

Пока разогревалась плита, я достала с полки в их комнате кожаный альбом и раскрыла на столе, рядом с читавшей Анной. Теперь меня заботила не смерть отца, а моя собственная; возможно, я сумею понять, когда произошла эта перемена, если замечу изменения в своем лице, которое было живым до какого-то года, дня, а потом будто замерзло. Герцогиня во Франции перед революцией перестала смеяться и плакать, чтобы ее кожа никогда не изменилась и не сморщилась, и у нее получилось — она умерла бессмертной.

Сперва бабушки и дедушки, отдаленные предки, незнакомцы, все сняты в анфас, как расстрель-

ная команда: фотография тогда была чем-то диковинным; возможно, они, как индейцы, думали, что у них крадут души. Под снимками были подписи белым, аккуратно сделанные мамой. Моя мама до замужества, еще одна незнакомка, с короткой стрижкой, в вязаной шапочке. Свадебные фотографии, застывшие улыбки. Мой брат до моего рождения. А затем стали появляться фотографии со мной. Поль вывез нас на озеро в своих санях, пока оно не замерзло. Моя мама в неизменной кожаной куртке и с непривычно длинными волосами по моде 1940-х годов стояла у кормушки для птиц с вытянутой рукой; сойки там тоже были, она их дрессировала — одна сидела на ее плече, уставившись на нее умными черными глазками, другая садилась ей на запястье, крылья вышли размыто. Солнечные лучи вокруг нее просеивались сквозь сосны, ее глаза смотрели прямо в камеру, с испугом, из затененных глазных впадин, как на черепе, — игра света.

Я смотрела, как расту. Мама и папа по отдельности рядом со строящимся домом — сначала одни стены, потом с крышей — и в огороде за работой. По краям были поля из белой бумаги, с петельками на каждом уголке, они были похожи на серо-белые окошки, открывавшиеся туда, куда

я больше не могла попасть. Я была на большинстве фотографий, заточенная в бумагу; или не я, а то, чего я лишилась.

Школьные фотографии: мое лицо среди сорока других лиц, и над всеми возвышаются здоровенные учительницы. Я всегда могла найти себя — силуэт постоянно был смазан из-за движения или взгляд устремлен в другую сторону. Дальше были глянцевые цветные снимки — забытые мальчишки с прыщами и гвоздиками, я в строгих платьях, с кринолином и тюлем, слоеных, будто праздничные торты в витрине; наконец меня окультурили — готовый продукт. Она мне говорила: «Ты выглядишь очень хорошенькой, дорогая», как будто верила в это; но меня это не убеждало, я уже знала к тому времени, что она не может судить о норме.

— Это ты? — спросила Анна, откладывая «Тайну Стербриджа». — Господи, как мы только могли носить такое?

Последние страницы альбома были пустыми, с несколькими незакрепленными фотографиями, вставленными между черными страницами, словно мама не хотела заканчивать альбом. После снимков в парадных платьях я исчезла; никаких свадебных фотографий, но мы, конечно,

их и не делали. Я закрыла альбом и выровняла края.

Ни малейшей догадки — я так и не поняла, когда это случилось. Похоже, тогда со мной все было в порядке; но после я позволила себе разделиться надвое. Женщина, распиленная в деревянной клети, в купальном костюме, с широкой улыбкой — фокус с помощью зеркал, я читала о таком в комиксе; однако со мной произошел несчастный случай, и я раздвоилась. Только одна половина, закрытая в клети, оказалась жизнеспособной; я же была негодной половиной, отделенной, отброшенной. Я была лишь головой, или нет, чем-то второстепенным, вроде отрезанного пальца; чем-то бессловесным. В школе был такой розыгрыш: приносили коробочки с ватой внутри и дыркой внизу; в дырку просовывали палец и показывали, словно отрезанный.

Глава тринадцатая

Мы отчалили в десять, судя по часам Дэвида. Небо было акварельно-голубым, с барашками облаков, белых на спинках и серых на брюшках. Дул попутный ветер, набегали волны, мои руки поднимались и раскачивались, легко и привычно, словно сами знали, что делать. Я сидела на носу, носовая фигура; позади меня Джо месил воду, лодка устремлялась вперед.

Мы миновали знакомые места, которые напоминали сейчас схематичную карту: мыс, утес, накренившееся мертвое дерево, остров цапель с неясными птичьими силуэтами, черничный остров, отмеченный мачтовыми соснами на переднем плане. На следующем острове была когда-то хижина зверобоя, бревна законопачены травой, куча соломы вместо кровати; теперь от хижины осталась только груда гниющего дерева.

Утром у нас произошел разговор, бессмысленный, но спокойный и рассудительный, словно мы обсуждали телефонный счет; значит, все было кончено. Мы еще лежали в постели, его ступни торчали из-под одеяла. Мне ужасно хотелось поскорее состариться, чтобы больше не пришлось

проходить через это.

— Когда вернемся в город, — сказала я, — я съеду.

— Я съеду, если хочешь, — ответил он великодушно.

— Нет, у тебя там все горшки и другие вещи.

— Делай как знаешь, — сказал он, — как и всегда.

Для него все это было словно состязание в школе, когда дети выворачивают тебе руку и спрашивают: «Сдаешься? Сдаешься?» Пока не признаешь поражение, тебя не отпустят. Он не любил меня, он любил свой собственный образ и хотел, чтобы кто-то еще делал это, кто угодно, до меня ему не было дела, и значит, мне не стоило переживать.

Солнце было на двенадцати. Мы перекусили на острове с выщербленными берегами, почти в дикой части озера. Сойдя на сушу, мы увидели, что кто-то уже сложил очаг на гранитном уступе; кругом был разбросан мусор: апельсиновая кожура, и консервные банки, и вонючая куча жирной бумаги — следы пребывания человека. Это напоминало собачью метку на заборе, словно бескрайний простор — безымянная вода и ничейная земля — подтолкнули кого-то к тому,

чтобы оставить свою подпись, застолбить свою территорию, и единственное, что они смогли, — это намусорить. Я собрала хлам и свалила в одну кучу, чтобы потом сжечь.

— Это отвратительно, — сказала Анна. — Как ты можешь к этому притрагиваться?

— Такое возможно только в свободной стране, — заметил Дэвид. — В Германии при Гитлере было очень опрятно.

Нам не пришлось ничего рубить — на острове было полно сухих палок и веток, нападавших с деревьев. Я вскипятила воду, заварила чай, и мы поели куриного супа с лапшой из пакетика и консервированных сардин с яблочным соусом.

Мы сидели в тени, над нами поднимался белый дым, и ветер доносил до нас запах жженых апельсиновых корок. Я сняла котелок с огня и разлила чай; в воде плавал пепел и веточки.

— Джентльмены, — обратился к нам Дэвид, поднимая жестяную кружку, — за королеву. Один раз я так сделал в одном баре в Нью-Йорке, и возникли эти три английских моряка и полезли в драку — они решили, что мы янки и оскорбляем их королеву. Но я сказал, что она и наша королева тоже, так что мы имеем такое же право поднимать за нее тост, и в итоге они купили нам

выпивку.

— Думаю, было бы правильнее, — сказала Анна, — если бы это сделали вы: «Леди и джентльмены, за королеву и герцога».

— Никаких этих феминистских штучек, — сверкнул глазами Дэвид, — или окажешься на улице. Я не потерплю такого в доме, они проповедуют произвольную кастрацию, они тащатся от этого, маршируя по улицам дикими шайками, вооружившись садовыми ножницами.

— Я к ним присоединюсь, — пообещала мне Анна шутливо, — с тобой за компанию.

А я сказала:

— Думаю, мужчины должны главенствовать.

Но никто из них не уловил мою мысль; Анна взглянула на меня так, словно я предала ее, и произнесла:

— Ого. Тебе случайно не промыли мозги?

А Дэвид сказал:

— Хочешь работу? — и, повернувшись к Джо: — Слушай, ты главенствуешь.

Джо только что-то промычал в ответ, и Дэвид предложил мне:

— Тебе нужно провести ему звук. Или приделать штепсель с абажуром — из него выйдет отличная лампа для журнального столика. Я ему

устрою гостевую лекцию в клубе «Зрелая растительность» на следующий год: «Как общаются горшки». Он войдет и будет молчать два часа — им снесет крышу.

Наконец Джо вяло улыбнулся.

Ночью я хотела спасения; если бы я смогла заставить тело чувствовать, реагировать, двигаться достаточно сильно, тогда какие-нибудь гирлянды красных синапсов и синих нейронов, пылающих молекул могли бы просочиться ко мне в голову через закрытое горло, шейную мембрану. Говорят, наслаждение и боль всегда рядом, но большая часть мозга нейтральна; она не имеет нервной системы, как жир. Я прорабатывала эмоции, называя их: радость, покой, вина, освобождение, любовь и ненависть, чуткость, общность; выбирать, что тебе чувствовать — это как решать, что надеть, — ты смотришь на других и запоминаешь. Но единственное, что я чувствовала, — это страх того, что я неживая: опровержение, разница между тенью булавки и ощущением, когда втыкаешь ее себе в руку; в школе, сжавшись за партой, я так делала, не только булавками, но и перьевыми ручками, и циркулем, инструментами знаний, на английском и геометрии; ученые установили, что крысы

предпочитают любые ощущения их отсутствию. Внутренние стороны моих рук были испещрены крохотными ранками, как у наркоманки. Мне вводили иглу в вену, и я проваливалась куда-то, словно ныряла, погружаясь из одного слоя тьмы в другой, более глубокий, глубочайший; когда я выплывала на поверхность с помощью анестетика, через бледно-зеленую мглу на свет, то ничего не помнила.

— Не дергай его, — попросила Анна.

— Или, может, на этот раз я начну короткий курс, — сказал Дэвид. — Для бизнесменов: как открывать центральный разворот «Плейбоя» одной левой, чтобы правая оставалась свободной для дела; и для домохозяек: как включать телик и выключать мозги — это все, что им нужно знать, и мы сможем идти домой.

Но он не стал спасать меня, его самого нужно было спасать, и никто из нас не собирался надевать плащ-палатку с толстовкой и ботинки, мы двое боялись не справиться, лежали спиной друг к другу, притворяясь, что спим, пока Анна за фанерной стенкой молилась кому-то. Романтические комиксы: на обложке всегда розовое личико в ручьях слез, похожих на потеки фруктового мороженого; мужские журналы фокусируются

на удовольствиях, машинах и женщинах, с кожей гладкой, как шины. В каком-то смысле это давало облегчение — быть исключенной из мира чувств.

— Твоя проблема в том, что ты ненавидишь женщин, — сказала Анна гневно.

Она выплеснула остатки чая с чаинками в озеро, я услышала всплеск.

Дэвид ухмыльнулся:

— Это называется отложенная реакция. Засадите Анне в дупло, и через три дня она запищит. Не падай духом, ты такая лапа, когда бесишься.

Он подполз к ней на четвереньках, потерся своей пушистой щетиной о ее лицо и спросил, хотела бы она, чтобы ее изнасиловал дикобраз.

— Знаете шутку? — спросил он. — Как дикобразы делают это? Осторожно!

Анна улыбнулась, глядя на него как на умственно отсталого ребенка.

Через минуту он вскочил и выбежал на мыс, потрясая кулаком и вопя что есть мочи: «Свиньи! Свиньи!» Мимо, в сторону деревни, проплывали какие-то американцы, их лодка с флажками на носу и корме качалась на волнах, вспенивая воду. Они не могли расслышать его из-за ветра и мотора, но решили, что он приветствует их, и

помахали ему, улыбаясь.

Я вымыла посуду и затушила костер, горячие камни зашипели, затем мы собрались и поплыли дальше. Течение усилилось, в открытом озере на волнах появились белые гребни, лодка под нами стала качаться из стороны в сторону, и мы приложили максимум усилий, чтобы не перевернуться; по темной воде стелилась пена, расходились волны. Весла погружались в озеро, в ушах гудел ветер; дыхание и пот, мышцы стонали, мое тело уж точно было живым.

Ветер был слишком сильным, нам пришлось сменить курс; мы приблизились к подветренному берегу и стали двигаться вдоль него, максимально близко к земле, следуя извилистым маршрутом между скал и отмелей. Мы долго шли кружным путем, но нас прикрывали деревья.

Наконец мы достигли узкой бухты с переправой; солнце стояло на четырех, нас задержал ветер. Я надеялась найти нужное место, начало тропы; я знала, что она на другой стороне. Когда мы огибали мыс, я услышала звук, свидетельствовавший о присутствии человека, сперва он был похож на лодочный мотор; потом перешел в рычание. Цепная пила. Я увидела двоих мужчин в желтых шлемах. Они оставили за собой след из

сваленных в бухту через промежутки деревьев; стволы были срезаны чисто, как ножом.

Землемеры, бумажная фабрика или правительство, энергетическая компания. Если это была энергетическая компания, я понимала, что это значило: они собирались поднять уровень озера, как шестьдесят лет назад, намечали новую береговую линию. Снова на двадцать футов выше, и на этот раз они не станут пилить деревья, как раньше, это будет слишком дорого, они просто оставят их гнить. Огород пропадет, но хижина выдержит; холм станет размываемым песчаным островом в окружении мертвых деревьев.

Когда мы проплывали мимо, они посмотрели на нас и вернулись к работе, явно потеряв к нам интерес. Уполномоченные сотрудники, агенты. Шорох и треск, когда дерево заваливалось и бухалось со всплеском в воду. Рядом с ними стоял столб, вогнанный в землю, с цифрами, недавно нанесенными красной краской. Озеро было им неважно, только система: здесь будет резервуар. На случай войны. Я не смогу ничего поделать, я здесь не живу.

Место высадки у переправы было завалено плавучим лесом, разбухшим и поросшим мхом. Мы протолкались между осклизлых бревен, на-

сколько смогли, а затем вылезли и в промокшей обуви пошли вброд, волоча лодки. Лодки от этого портились — кили стирались. Я заметила другие цифры краской, тоже явно свежие.

Мы разгрузили лодки, и я привязала весла к сиденьям. Ребята сказали, что возьмут палатки и лодки, а мы с Анной можем взять сумки с остатками провизии, удочки, рыболовную снасть с банкой с лягушками, которых я наловила тем утром, и киношное оборудование. Дэвид настоял на этом, хотя я предупредила, что его может ждать облом.

— Нужно использовать всю пленку, — сказал он. — Камеру придется через неделю сдать.

— Но там не будет того, что ты хочешь, — предположила Анна.

А Дэвид пожал плечами:

— Откуда ты знаешь, чего я хочу?

— Там индейская наскальная живопись, — сказала я, — доисторическая. Можешь снять ее.

Достопримечательность, вроде Бутылочной виллы и семейки лосиных чучел, еще одна аномалия для их коллекции.

— Ух ты, — сказал Дэвид. — Правда? Четко.

Анна же попросила:

— Ради бога, не подзадоривай его.

Никто из них не ходил через переправу; нам пришлось помогать ребятам поднимать лодки и удерживать равновесие. Я предложила им согнуться вдвоем под одной лодкой, но Дэвид заявил, что они справятся и так. Я сказала им быть осторожнее; если лодка соскользнет вбок и кто-то не выберется вовремя, то сломает шею.

— В чем дело? — возмутился он. — Ты нам не доверяешь?

Тропу последнее время не расчищали, но в грязи виднелись глубокие следы ног, башмаков. Две пары, уходящие вперед, но не обратно: кто бы ни были эти люди — американцы, шпионы, — они находились здесь.

Сумки были тяжелыми, с провизией на три дня, на случай если погода ухудшится и задержит нас; лямки резали мне плечи, я наклонялась вперед, сохраняя равновесие, однако ноги разъезжались в мокрых туфлях при каждом шаге.

Переправа поднималась через крутой скалистый хребет, водораздел, а потом спускалась через заросли папоротника и тростника к вытянутому пруду, грязной луже, через который нам придется переплыть, чтобы достичь второй переправы. Мы с Анной пришли туда первыми и поставили сумки; Анна успела выкурить полси-

гареты, пока Дэвид и Джо неуверенно спускались по тропе, задевая за края, как кони в шорах. Мы придержали лодки, и ребята выбрались из-под них, красные, тяжело дыша.

— Лучше бы здесь была рыба, — сказал Дэвид, утирая рукавом лоб.

— Следующая короче, — пообещала ему я.

В воде плавали кувшинки, круглые желтые лилии с толстыми рыльцами, торчавшими из середины. Вода кишела пиявками, я видела, как они медлительно двигались в бурой воде. Когда весла задевали дно, поднимались пузырьки от разлагавшейся растительности и распространялась вонь, как от тухлых яиц или испражнений. Кругом было полно комаров.

Мы достигли второй переправы, отмеченной зарубкой зверобоя, обветренной до цвета древесины. Я выбралась и стояла, удерживая лодку, пока Джо карабкался вперед.

Сзади что-то было, я почуяла это раньше, чем увидела, затем услышала мух. Запах был как от разлагающейся рыбы. Я обернулась и увидела, как она висит, раскинув крылья, вниз головой на тонкой синей нейлоновой нити, обвязанной вокруг лап и наброшенной на ветку дерева. Она смотрела на меня своим заплывшим глазом.

Глава четырнадцатая

— Серьезно, — спросил Дэвид, — что это?

— Мертвая птица, — сказала Анна, зажимая нос двумя пальцами.

— Это цапля, — уточнила я. — Их не едят.

Я не могла сказать, как ее прикончили: пулей, камнем или палкой. Здесь наверняка было излюбленное место цапель, они могли ловить рыбу на мелководье, стоя на одной лапе и взмахивая длинным острым клювом. Наверное, ее убили до того, как она взлетела.

— Мы это используем, — сказал Дэвид, — можем поместить ее рядом с рыбьими кишками.

— Дерьмо, — бросил Джо. — Вот же вонища.

— В фильме это будет незаметно, — сказал Дэвид, — пять минут можешь потерпеть. Выглядит потрясающе, ты должен признать.

Пока они настраивали камеру, мы с Анной ждали, сидя на сумках.

Я увидела на птице жука, сине-черного, овального; когда камера загудела, жук скрылся в перьях. Могильщик, мертвоед. Зачем эту птицу повесили как преступницу, почему ее просто не выбросили как мусор? Хотели доказать, что

они это могут, у них есть власть убивать. Другого смысла не было: цапли прекрасны на расстоянии, но их нельзя приручить, или приготовить, или обучить — единственное, что люди могли сделать с такой птицей, это уничтожить. Пища, раб или труп — ограниченный выбор; рогатые и клыкастые головы отпиливают и вешают на стену бильярдной, из рыб делают чучела, трофеи. Вероятно, ее убили американцы; и они еще находились здесь, мы их встретим.

Вторая переправа была короче, но заросла сильнее: мы обтирали кустарники и отводили ветви, преграждавшие нам путь в воздушном коридоре над тропой, словно отговаривая от дальнейшего продвижения. Нам попадались недавно сломанные деревца — древесина с нежной сердцевиной выступала как раздробленные кости — и растоптанные папоротники, здесь были эти люди, я видела в грязи перед собой их следы, похожие на следы трактора на раскопках, этакие кратеры. Склон пошел под уклон, за деревьями поблескивало озеро. Я думала, что я им скажу, что тут вообще можно сказать; если я спрошу, зачем они это сделали, это ничего не даст. Но, когда мы дошли до конца переправы, там никого не было.

Озеро тянулось узким полумесяцем, дальний

конец скрывался из вида. Lac des verges blanches, по берегам стояли группами белые березы, обреченные погибнуть от болезни, древесного рака, но пока они были здоровыми. Ветер покачивал их верхушки; он дул по диагонали через озеро. Поверхность покрывалась рябью, вода набегала на берег.

Мы снова сели в лодки и стали грести, следуя изгибу береговой линии; я помнила, что впереди открытое пространство, где можно разбить лагерь. По пути мы увидели несколько заброшенных бобровых хаток, похожих на развалившиеся пчелиные ульи или скирды из веток; я помнила, что окуням нравятся подводные заросли.

Мы приплыли позже, чем я рассчитывала, солнце уже покраснело и клонилось к закату. Дэвид захотел сразу приняться за рыбалку, но я сказала, что прежде нужно поставить палатки и собрать хворост. Здесь тоже был мусор, но его оставили давно — этикетки на пивных бутылках совсем выцвели, жестянки поржавели. Я собрала все и взяла с собой, собираясь выкопать отхожую яму среди деревьев.

Слой листвы и иголок, слой корней, влажный песок. Вот что больше всего напрягало меня в городах — это белые рты унитазов в чистых

опрятных кабинках. Смывные туалеты и пылесосы — они ревут и заставляют вещи исчезать, я раньше боялась, что есть такая машина, которая так же заставляет исчезать и людей, пропадать бесследно, словно камера, которая крадет не только душу, но и тело. Рычаги и кнопки, спусковые крючки, машины выпускают их, как цветы выпускают корни; кружочки и прямоугольники, воплощенная логика, никогда заранее не знаешь, что будет, если нажмешь на них.

Я показала всем троим, где выкопала яму.

— На чем ты сидишь? — спросила Анна педантично.

— На земле, — ответил Дэвид, — тебе тоже это полезно, постройнеешь. Поработаешь задницей.

Анна щелкнула его по пряжке ремня и сказала: «Жировой депозит», — подражая ему.

Я открыла еще консервов и разогрела их, испекла фасоль и горох, и мы съели все это, запивая дымным чаем. С утеса, где я мыла посуду, был виден край палатки среди кедров на дальнем конце озера: их бункер. На меня навели бинокль, я чуяла чужие взгляды, прицел винтовки у себя на лбу, на случай неверного движения.

Дэвиду не терпелось опробовать свою крутую удочку, за этим он и выбрался сюда. Анна сказала,

что останется в лагере: рыбалка ее не увлекала. Мы оставили ей спрей от насекомых и втроем сели в зеленую лодку с удочками. Я поставила банку с лягушками на корму, поближе к себе. На этот раз Дэвид сидел лицом ко мне; Джо устроился на носу, он тоже собирался рыбачить, хотя у него не было разрешения.

Ветер улегся, озеро отсвечивало розово-оранжевым. Мы двигались вдоль берега, мимо тихих берез, нависавших над нами ледяными колоннами. У меня кружилась голова — слишком много воды и солнечных бликов — и лицо зудело, как обгоревшее, тлело. Стоило мне закрыть глаза, как я видела силуэт перевернутой висящей цапли. Нужно было сжечь ее.

Лодка подплыла к ближайшей бобровой хатке, и ребята пришвартовались к ней. Я открыла коробку со снастями и закрепила блесну на леске Дэвида. Он был счастлив и насвистывал себе под нос.

— Эх, может, я подцеплю бобрика, — сказал он. — Герб страны. Вот, что им надо было поместить на флаг вместо кленового листа — вскрытого бобра; я бы отдавал честь.

— Почему вскрытого? — спросила я.

Это было как с обдиранием кошки — я не по-

нимала.

Он посмотрел на меня негодующе.

— Это шутка, — сказал он и, не дождавшись моего смеха, добавил: — Где ты вообще жила? Это киска на сленге. Кленовый бобрик народ одобрит, это было бы четко.

Он опустил леску в воду и стал напевать, фальшивя:

Давным-давно из Британии родной
Прибыл Вулф, галантный кавалер:
И устроил он распрекрасный бордель
На славной канадской земле...[26]

— В твоей школе это поют?

— Тебя рыба услышит, — сказала я, и он замолчал.

Часть тела, мертвое животное. Я задумалась, какой частью их тела была мертвая цапля, если им так приспичило убивать ее.

Мне вспомнился буксир, тот самый, что ходил раньше по озеру, перевозя бревна, и мужчины махали мне из кабины, а солнце светило с синего

---

[26] Примечания: 26

Пародия на патриотическую англо-канадскую песню «Кленовый лист навеки».

неба, все было идеально. Но это длилось недолго. Однажды весной, придя в деревню, мы увидели этот буксир на берегу у государственной пристани, он был заброшен. Я захотела увидеть, что там было в домике, как они там жили; я была уверена, что там будет миниатюрный столик и стулья, откидные кровати вдоль стен, занавески в цветочек на окнах. Мы залезли туда; дверь была открыта, а внутри оказалось голое дерево, даже непокрашенное; никакой мебели, и печка пропала. Единственное, что мы нашли, — два заржавевших лезвия на подоконнике и какие-то рисунки карандашом на стенах.

Я подумала, это растения или рыбы, а некоторые напоминали моллюсков, но мой брат засмеялся, поскольку понял что-то, непонятное мне; и я приставала к нему, пока он не объяснил. Я была поражена не самими этими органами (нам о них уже рассказывали), но тем, что они могли быть вот так отрезаны от человеческих тел, частью которых должны являться, словно они могли отделяться и ползать сами по себе, как улитки.

Я давно забыла об этом; но это, конечно же, были магические рисунки, наподобие пещерных. Ты рисуешь на стене то, что важно для тебя, на

что ты охотишься. У тех мужчин было достаточно провизии, им не нужно было рисовать консервированный горох и аргентинскую говяжью солонину, они рисовали то, чего им не хватало во время этих однообразных и совсем не идиллических рейсов вверх и вниз по озеру, когда нечем заняться, кроме игры в карты; они, должно быть, ненавидели свою работу — мотаться туда-сюда, вслед за этими бревнами. Теперь они все уже умерли или были стариками, и, наверное, ненавидели друг друга.

Окуни дернули сразу обе удочки. Они отчаянно сражались, удочки гнулись дугой. Дэвид вытащил своего, а Джо упустил, и окунь скрылся в лабиринте веточек, где потом намотает леску на палку и перекусит.

— Эй, — попросил Дэвид, — убей его за меня.

Окунь отчаянно метался по всей лодке. Он выплевывал воду и шипел, разевая выступающую снизу челюсть; он был ужасно напуган или взбешен, я не могла понять.

— Давай сам. — Я протянула ему нож. — Я тебе показывала как. Помнишь?

Глухой удар металла о рыбью кость, череп, бесшейное головотелое, рыба — это одно целое, я больше не могла, не имела права. Она не была

нам необходима, у нас имелась подходящая еда в консервных банках. Мы совершали это действие, насильственное действие, ради спортивного интереса, или развлечения, или удовольствия, для здорового отдыха, как говорят, — это уже не были веские причины. Это объясняет, но не извиняет, как говорил мой отец, это была его любимая поговорка.

Пока они восторгались убийством рыбы, рыбьим кадавром, я взяла банку с лягушками из коробки со снастями и открутила крышку; они выскользнули в воду, зеленые с черными пятнышками и золотистыми глазами, спасенные. Средняя школа: на каждой парте поднос с дышащей эфиром лягушкой, распростертой, точно подкладка, закрепленной и вскрытой; органы рассечены и вырезаны, отделенное сердце все еще медленно сжимается, как кадык или сердце мученика, только без надписи на латыни, внутренности тянутся липкими шнурками. Заспиртованная кошка, накачанная химикатами, красными для артерий, синими для вен, в больнице, похоронном бюро. Найди мозг червя, пожертвуй свое тело науке. Все, что могли сотворить с животными, мы могли сотворить и друг с другом: мы на них тренировались для начала.

Джо перебросил мне свою порванную леску, я порылась в блеснах и нашла еще один свинец, грузило, еще один крючок — сообщница, соучастница.

Из-за мыса показались американцы, двое в серебристой лодке; они медленно двигались в нашу сторону. Я рассмотрела их: это были не пухлые пожилые туристы, которые никуда не выбирались без моторных лодок и проводников; незнакомцы были моложе, более подтянуты, одежда с блестящей тонированной отделкой в космическом стиле, как из журнальной рекламы. Когда они поравнялись с нами, их рты растянулись в улыбках, открыв идентичные ряды зубов, белых и ровных, словно искусственных.

— Клюет? — спросил человек на носу со среднезападным акцентом; традиционное приветствие.

— Еще как, — ответил Дэвид, улыбаясь.

Я ожидала, что он им что-то скажет, что-то оскорбительное, но нет. Они были довольно рослыми.

— У нас тоже, — сообщил тот, что был спереди. — Мы тут дня три-четыре, клев есть все время, каждый день ловим до предела.

У них был звездный флаг, как у всех амери-

канцев, и миниатюрная переводная картинка на носу лодки. Они показывали нам, что мы на занятой ими территории.

— Ну, еще увидимся, — бросил второй, с кормы.

Их лодка проплыла мимо нас к следующему бобровому домику.

Удочки фирмы «Рэйган», непроницаемые лица, как космические шлемы, глаза снайперов — это сделали они; их покрывал холодный блеск вины, словно фольга. У меня в памяти всплыли истории, которые я слышала про американцев: они набивают понтоны своих гидросамолетов нелегально выловленной рыбой, приделывают второе дно к своей машине с двумя сотнями форелей на сухом льду — лесничий поймал их случайно.

«Это паршивая страна, — сказали они, когда он отказался от взятки, — ноги нашей здесь не будет».

Они напивались и развлекались, гоняясь за гагарами на своих моторках, не оставляя их в покое, когда те ныряли, и не давая возможности взлететь, пока несчастные не погибали от усталости или под винтом их лодки. Бессмысленное убийство — это для них игра; после войны им скучно.

Солнце почти зашло, с другой стороны неба разливалась чернота. Мы принесли с собой четыре рыбы, и я обрезала ветки молодого деревца, чтобы получилась рогатка, и нацепила на нее рыб за жабры.

— Фу, — сказала нам Анна, — от вас несет, словно тут рыбный рынок.

— Сейчас бы пива, — сказал Дэвид. — Надо было спросить у янки, у них явно есть.

Я пошла к озеру с куском мыла, чтобы смыть с рук рыбью кровь. Анна направилась за мной.

— Господи, — вздохнула она, — что же мне делать? Я забыла косметику, он меня убьет.

Я рассмотрела ее: в сумерках лицо было серым.

— Может, не заметит, — сказала я.

— Заметит, не сомневайся. Если не сейчас — пока еще не все стерлось, — так утром. Он хочет, чтобы я постоянно выглядела как молоденькая цыпочка, иначе бесится.

— Ты можешь хорошенько перепачкать лицо, — подала идею я.

На это она ничего не ответила. Села на камень и опустила голову на колени.

— Он мне это припомнит, — сказала она обреченно. — У него есть целый наборчик правил. Если я хоть одно нарушу, он меня наказывает,

только он их постоянно меняет, так что никогда не знаешь. Он псих, у него чего-то не хватает — понимаешь, о чем я? Ему нравится заставлять меня плакать, поскольку сам он не может.

— Но это не так уж страшно, — произнесла я, — забыть косметику.

Она издала горловой смешок, похожий на кашель.

— Дело не в макияже; ему лишь бы прицепиться. Он все время следит за мной, ждет оправданий. И тогда он или совсем мне не вставит, или будет так долбить, что больно станет. Наверное, ужасно, что я говорю все это. — Белки ее глаз сверкнули в полутьме. — Но если сказать ему что-то такое, он просто отшутится — говорит, у меня голова как из мыльной оперы, говорит, я все выдумываю. Но это правда, ты же понимаешь.

Она обращалась ко мне как к судье, но при этом не доверяла, она боялась, что я начну говорить с ним у нее за спиной.

— Может, тебе надо уйти, — предложила свое решение я, — или получить развод.

— Иногда я думаю, он этого хочет, уж и не знаю. Когда-то нам было хорошо, потом я по-настоящему полюбила его, а он не выносит этого, не выносит моей любви. Разве не смешно?

Анна накинула на плечи кожаную куртку моей мамы, она взяла ее, поскольку у нее не было теплого свитера. Мамина куртка на ней смотрелась нелепо, несуразно. Я попробовала думать о маме, но ничего не получилось; единственное, что мне вспоминалось, — это история, которую она рассказала когда-то, о том, как в детстве они с сестрой сделали себе крылья из старого зонтика; они спрыгнули с крыши амбара, надеясь полететь, и она сломала обе лодыжки. Мама смеялась, вспоминая об этом, но мне история казалась жутковатой и грустной — нестерпимая неудача.

— Иногда я думаю, он бы хотел, чтобы я умерла, — сказала Анна, — у меня бывают такие сны.

Мы вернулись назад, я разожгла костер и намешала немного какао с сухим молоком. Теперь вокруг было темно, только пламя костра плясало, искры взвивались спиралями, угольки внизу мигали красным, когда налетал ночной ветер. Мы сидели на подстилках: Дэвид одной рукой обнимал Анну, а мы с Джо не касались друг друга.

— Это напоминает мне девочек-скаутов, — сказала Анна игривым тоном, который когда-то казался мне естественным.

Она начала петь — несмело, запинаясь:

В небе синие птицы

Будут завтра кружиться
Над Дувром свободного мира…

Слова летели в темноту, тонкие, как дым, и тут же испарялись. С другой стороны озера прокричала неясыть, быстро и мягко, словно ударила крылом по барабанной перепонке, перекрывая голос Анны, сводя на нет ее пение. Анна оглянулась: она это почувствовала.

— Теперь поем все вместе, — сказала она, хлопая в ладоши.

— Что ж, — отозвался Дэвид, — спокойной ночи, дети.

И они с Анной ушли в свою палатку. Там на секунду зажегся свет и погас.

— Идешь? — спросил Джо.

— Через минуту.

Мне хотелось дать ему время заснуть.

Я сидела в темноте, со всех сторон меня поглаживали звуки ночи. В отдалении светился костер американцев, тускло-красный глаз циклопа — вражеский лагерь. Я пожелала им зла: «Пошли им страданий, — молилась я, — переверни их лодку, сожги их, вскрой их». Сова, ответь мне: нет ответа.

Я заползла в палатку, отведя москитную сетку;

нащупала фонарик, но включать не стала, не хотела беспокоить Джо. Я разделась на ощупь; рядом виднелся его силуэт, неподвижный и удобный, как бревно. Пожалуй, только в такие моменты я и могла испытывать к нему нечто вроде любви — когда он спал, ничего не требуя. Я легко погладила его по плечу, как могла бы гладить дерево или камень.

Но он не спал — пошевелившись, протянул ко мне руки.

— Извини, — сказала я, — думала, ты спишь.

— Ладно, — произнес он, — я сдаюсь, ты победила. Мы забудем все, что я говорил, и сделаем как ты хочешь, как было раньше, хорошо?

Было слишком поздно, я так не могла.

— Нет, — сказала я.

Я уже съехала.

Его рука сжала мою со злостью и отпустила.

— Светозарные яйца Христовы, — сказал он.

Темный силуэт Джо навис надо мной, я съежилась — он словно собирался меня ударить; но он отвернулся и закутался в спальный мешок.

Сердце мое стучало, я сидела на месте, вслушиваясь в звуки по другую сторону холщовой стенки. Писки, шорохи в сухих листьях, хрюканье — ночные животные, никакой опасности.

Глава пятнадцатая

Крыша палатки просвечивала, как влажный пергамент, в крапинках утренней росы. Птичьи голоса кружили у меня в ушах, перемешиваясь, точно водомерки на проточной воде, наполняя воздух текучими звуками.

Среди ночи раздался рев — Джо приснился кошмар. Я тронула его, это было безопасно, он был в спальном мешке, все равно что в смирительной рубашке. Он сел, толком не проснувшись.

— Это не та комната, — сказал он.

— Что это было? — спросила я. — Что тебе снилось?

Мне хотелось знать; возможно, я бы вспомнила, как видеть сны. Но он отвернулся и снова заснул.

Я держала руку у лица; она пахла копченой кожей после дыма от костра, смешанного с потом и землей, и рыбьими потрохами, с запахом прошлого. У нас в хижине мы замачивали одежду, в которой ходили, стирали с нее запах леса и обновляли свою шкуру с помощью мыла и лосьона.

Одевшись, я прошла к озеру и опустила лицо в воду. Здесь вода была не такой чистой, как на

открытом пространстве озера: она была буроватой, впитавшей больше всякой живности, более плотной, и она была холоднее. Скалистый уступ обрывался резко, это окраинное озеро. Я разбудила остальных.

Очистив рыбу, обваляла ее в муке и пожарила, затем сварила кофе. Рыбья плоть была белой, с голубыми прожилками; вкус отдавал чем-то подводным и камышовым. За едой почти не разговаривали; все плохо спали.

Лицо Анны в свете дня, без привычного слоя крема и подводки, выглядело суховатым и слегка пожухлым; нос обгорел на солнце, а под глазами были заметны лиловые мешки. Она отворачивалась от Дэвида, но он как будто этого не замечал и ничего не говорил. Даже когда она задела ногой его кружку с кофе и расплескала немного на землю, он сказал только:

— Осторожнее, Анна, не будь неряхой.

— Хочешь еще порыбачить с утра? — спросила я Дэвида.

Но он покачал головой:

— Пойдем поснимаем эту наскальную живопись.

Я сожгла рыбьи кости — хрупкие позвонки, как лепестки; внутренности я закопала в лесу, словно

саженцы. Но весной из них не вырастет рыбешка. Как-то раз мы нашли на острове скелет оленя с ошметками плоти на нем, и отец сказал, что его убили зимой волки, поскольку олень был старым, это естественно. Если бы мы ныряли за рыбой и ловили зубами, вступая с ней в схватку на ее территории, это было бы справедливо, но крючки — это суррогат, а воздух — не рыбья стихия.

Наши мужчины возились с кинокамерой, ковыряясь в настройках и что-то обсуждая; когда они все решили, мы тронулись в путь.

Согласно карте, наскальная живопись была в бухте вблизи лагеря американцев. Создавалось впечатление, что они еще не встали — не было видно дыма от их костра. Я подумала, что, возможно, моя молитва сработала и они умерли.

Я высматривала углубление в береговой линии, которое имелось на карте. Оно находилось здесь — место, отмеченное крестиком — ошибки быть не могло: утес с ровным краем, таким, который выбрали бы для рисунка, поблизости больше не было ровных скал. Отец побывал здесь, а задолго до него — аборигены, первопроходцы, оставившие собственную метку, начертавшие слово, но не его значение. Я подалась вперед, пристально вглядываясь в поверхность утеса; мы подняли

весла, и лодки дрейфовали боком, пока не заскребли о камень.

— Где же это? — спросил Дэвид и добавил, обращаясь к Джо: — Тебе нужно закрепить лодку, снимать с берега мы точно не сможем.

— Поначалу, возможно, будет трудно заметить, — предупредила я. — Краски блеклые. Это должно быть где-то совсем рядом.

Но мы ничего не видели: никакого рогатого человека, ничего, похожего на красную краску или хотя бы какое-то пятно, — под моей рукой простиралась скальная порода, шершавая, бледная, перерезанная только бело-розовой веной кварца, диагональной отметиной медленного уклона земли; никаких следов человека.

Либо я плохо запомнила карту, либо то, что отец написал на ней, было неверно. Я все обдумала, расшифровала подсказки, как он нас учил, и они не привели нас ни к чему. У меня было такое чувство, словно он наврал мне.

— Кто тебе рассказал о них? — спросил Дэвид.

— Я просто думала, они будут здесь, — ответила я. — Кто-то мне говорил. Может, речь шла о другом озере.

На секунду я задумалась: ну конечно, ведь озеро затопили, рисунки должны оказаться в

двадцати футах под водой. Но это явно другое озеро, не связанное с нашим, между ними был водораздел. Карта говорила, что отец обнаружил их и на основном озере; согласно письму, он их фотографировал. Но я обыскала хижину и не нашла камеры. Ни рисунков, ни камеры. Я что-то напутала, придется искать заново.

Ребята расстроились, они ожидали чего-то зрелищного или причудливого, чего-то, что им пригодится. Отец не следовал правилам, он жульничал, мне хотелось предъявить ему обвинение, потребовать объяснения: «Ты же сказал, что это будет здесь».

Мы повернули назад. Американцы уже встали, они не умерли; они отплывали от берега в своей лодке; тот, что сидел на носу, перекинул удочку через край. На носу нашей лодки была я и Джо, мы приближались к ним под прямым углом.

— Привет, — сказал мне тот, что был спереди, белозубо осклабившись. — Удачно?

Это была их броня, банальное невежество, голова пустая, как метеозонд: этим они защищались от чего угодно. Грубая сила — вот их конек; я представила электрический всплеск, нервный сок, когда они сбили цаплю, не дав ей подняться в небо, она накренилась и упала, словно под-

битый самолет. «Невинных избивают за то, что они существуют», — подумала я, у счастливых убийц нет ничего, что могло бы сдержать их, — ни совести, ни жалости; для них единственные, кто заслуживают жизни, это люди, им подобные люди, одетые в правильную одежду и с правильными прибамбасами. Совсем не как в странах, где животное может иметь душу твоего предка или быть отпрыском бога — по крайней мере, там бы эти люди чувствовали вину.

— Мы не рыбачим, — сказала я, чеканя слова.

У меня чесалась рука, так хотелось взмахнуть веслом вбок, ребром ему по голове, чтобы его глаза выскочили наружу, а череп треснул, как яйцо.

Уголки его рта опустились.

— Оу, — произнес он. — Скажи, а вы все из какой части Штатов? Трудно понять по вашему говору. Фред и я подумали, Огайо.

— Мы не из Штатов, — бросила я, раздраженная тем, что он принял меня за одну из своих.

— Че, правда? — его лицо просияло — он увидел настоящую туземку. — Вы местные?

— Да, — сказала я. — Все мы.

— Как и мы, — неожиданно выдал другой, с кормы.

Первый протянул руку в нашу сторону, хотя

нас разделяли пять футов воды.

— Я из Сарнии, а Фред, вот он, мой свояк, он из Торонто. Мы думали, вы янки, с такими волосами, и вообще.

Меня охватило бешенство, ведь это они были вылитые янки.

— А зачем вам тогда этот флаг на вашей лодке? — спросила я, причем так громко, что они опешили.

Первый поднял руку.

— Ах это… — он пожал плечами. — Я фанат «Метс»[27], давно уже, всегда болею за тех, кто слабей. Купил это, когда был здесь, на игре, в год, когда они взяли вымпел.

Я внимательнее присмотрелась к наклейке: это был вовсе не флаг, а сине-белый прямоугольник с красными буквами: «ВПЕРЕД, МЕТС».

Дэвид и Анна переварили услышанное.

— Так ты фанат «Метс»? — удивился Дэвид. — Потрясающе. — Он подвел свою лодку к ним, и они пожали друг другу руки.

Но они все равно убили цаплю. «Неважно, из какой ты страны», — сказал мне внутренний голос, они по-любому американцы, они — это то,

---

[27] Примечания: 27
Американский бейсбольный клуб из Нью-Йорка.

к чему мы идем, во что мы превращаемся». Такие распространяются как вирус, они проникают в мозг и захватывают клетки, и клетки меняются изнутри, причем зараженные клетки не чувствуют этого. Как в ночных научно-фантастических фильмах: создания из далеких галактик, охотники за телами, вживающиеся в тебя, завладевающие твоим мозгом, скрывающие свои белые, как яйца, глаза, за темными очками. «Если вы выглядите как они, и говорите как они, и думаете как они, тогда вы и есть они, — говорила я себе, — вы говорите на их языке, язык — это все ваши действия».

Но как они развивались, откуда пришел первый из них? Они не были захватчиками с другой планеты, они были землянами. Как мы стали плохими? Для нас, когда мы были маленькими, источником зла был Гитлер, он был великим злом, многоруким, древним и непобедимым, как сам дьявол. Неважно, что к тому моменту, как я услышала о нем, от него осталась только кучка пепла и зубы; я была уверена, что он жив, — он был в комиксах, которые зимой приносил домой брат, и также он был в рисунках брата, он был свастикой на танках. Если бы только его можно было уничтожить, все спаслись бы, все. Когда

отец разводил костер, чтобы сжечь сорняки, мы бросали в огонь палочки и напевали: «Дом Гитлера горит, моя прекрасная леди-о»; мы знали, это помогало. Он был мерилом всех мыслимых ужасов. Но Гитлер ушел, а зло осталось; чем бы оно ни было, даже в тот момент, когда мы удалялись от них, ухмылявшихся нам, взмахивая руками, я себя спрашивала: «Может, американцы хуже Гитлера?» Это было все равно что резать ленточного червя — куски росли.

Мы высадились в своем лагере, скатали спальные мешки, сложили и упаковали палатки. Я засыпала отхожую яму и выровняла землю, затем присыпала веточками и хвоей. Замела все следы.

Дэвид хотел остаться и перекусить с «американцами», чтобы наговориться про бейсбол, но я сказала, что ветер против нас и нельзя терять время. Я поторапливала их, мне хотелось убраться отсюда, подальше от моего гнева, как и от приветливых убийц, любивших цвет металлик.

Мы достигли первой переправы в одиннадцать. Я шагала по камням и грязи, наступая в свои следы суточной давности, возвращаясь тем же путем; у меня в уме сходились и расходились нити, дорожки; мы убивали и других людей, помимо

Гитлера, до того, как брат пошел в школу и узнал о нем, и детские игры стали играми в войну. До этого мы играли в животных; наши родители были людьми, врагами, которые могли застрелить нас или поймать, и мы от них прятались. Но иногда и животные демонстрировали силу: один раз мы были роем пчел и обкусали пальцы, ноги и нос нашей нелюбимой кукле, порвали ее тряпичное тело и вытащили внутренности, серые и мягкие, как набивка матраса; после этого мы выбросили ее в озеро. Она поплыла по воде, и родители, подобрав ее, спросили, как она потерялась, а мы соврали — сказали, что не знаем. Убивать нельзя, нам это говорили: убивать можно только врагов и того, кто годится в пищу. Конечно, кукле не было больно, она не была живой; хотя для детей все живое.

Мертвая цапля все так же висела у пруда, на жарком солнце, словно в витрине мясника, поруганная, неискупленная. Запах стал еще хуже. Вокруг ее головы вились мухи, откладывавшие яйца. Король, который научился разговаривать с животными, в той сказке он съел волшебный лист, и они явили ему сокровище, тайный замысел, они спасли ему жизнь; что бы они высказали в такой ситуации? Обличали бы, стенали или

кричали от ярости? У них не было делегата.

Я почувствовала одуряющую сопричастность, липкую, как клей, кровь на моих руках, словно я сама стояла рядом и смотрела на это, не выражая протеста: просто молчаливый свидетель в толпе. «Кому-то не повезло родиться немцем, — думала я, а мне — человеком». В каком-то смысле глупо было так переживать из-за мертвой птицы, когда вокруг столько всего творилось: войны, и мятежи, и кровавые разборки. Но для войн и мятежей всегда имелись объяснения — о них написано немало книг, в которых приводят причины, почему такое происходит. Тогда как смерть этой цапли не имела ни причины, ни оправдания.

Лаборатория. В то время брат был уже постарше. Он никогда не ловил птиц, они для него были слишком быстрыми, он ловил живность, которая двигалась медленнее. Он держал своих пленников в банках и жестянках на доске в лесу, около болота; чтобы ходить к ним, он проложил секретную тропинку, отмеченную маленькими насечками на деревьях, составлявшими код. Иногда он забывал покормить их или, возможно, по вечерам было слишком холодно, потому что в тот день, когда я одна пришла туда, там была мертвая змея и несколько лягушек — их кожа

ссохлась, а желтые животы вспучились, а лангуст неподвижно плавал в мутной воде, подняв лапки, как паук. Я вытряхнула их всех в болото. Других существ, которые еще были живы, я выпустила. Я промыла банки и жестянки, и выставила их рядком на доске.

После ланча я спряталась, но к ужину мне пришлось показаться. Он ничего не мог сказать, когда мы были не одни, но он понял, что это сделала я, больше некому. Он так разозлился, что побелел, его глаза вращались, словно не видя меня. «Они были моими», — сказал он. Потом он наловил другую живность и выбрал другое место; на этот раз он не стал говорить мне. Я все равно нашла, но побоялась снова выпустить их. Из-за моего страха их убили.

Я не хотела, чтобы были войны и смерть, мне хотелось, чтобы их не существовало; только кролики с домиками из разноцветных яиц, солнце и луна в нужных местах над плоской землей, всегда лето: я хотела, чтобы все были счастливы. Но его рисунки были лучше проработаны: орудия, разрывающиеся солдаты; он был реалистом, это его защищало. Один раз он чуть не утонул, но больше он не собирался допускать ничего подобного; к тому времени, как уехал, он был к этому готов.

В застоялом пруду по-прежнему были пиявки: те, что помоложе, свисали группками со стеблей лилий под водой, словно пальцы, а более крупные плавали, плоские и мягкие, как лапша. Мне они не нравились, но неприязнь ничего не оправдывала. В другом озере они ни разу не беспокоили нас, когда мы плавали, но мы ловили пестрых пиявок, которых он считал плохими, и бросали в костер, когда мама не видела — она не позволяла жестокости. Я не особенно возражала против этого, когда они просто умирали; но они выбирались, извиваясь, и ползли с жалким видом, покрытые золой и хвойными иголками, в сторону озера, по-видимому, чуя, где вода. Тогда он поднимал их двумя веточками и снова бросал в огонь.

Зло скрывалось не в городе, не в инквизиторах на школьном дворе — мы были не лучше их; мы просто выбирали разных жертв. Снова стать словно ребенком, варваром, вандалом: в нас это тоже было, это было заложено в нас. Что-то закрылось у меня в голове — указатель, синапс, — отрезая возможность побега: это был неверный путь, искупление таилось где-то еще, должно быть, я проглядела его.

Мы достигли основного озера и, снова сложив

вещи в лодки, выволокли их через бревенчатый настил. В бухте поваленные деревья и столбы с номерами отмечали место, где побывали землемеры из энергетической компании. Мою землю продадут или затопят, она станет водохранилищем; людей продавали вместе с землей и животными — по распродаже, по акции, solde[28]. *Les soldes*, так они их называли — продажные шкуры; будет затопление или не будет, определялось тем, кого изберут, не здесь, а где-то там.

[28] Примечания: 28
Распродажа *(фр.)*.

Глава шестнадцатая

Шел уже шестой день — я должна была выяснить правду; это был мой последний шанс, назавтра за нами приезжал Эванс. Мой мозг кипел, обдумывая плохое и заполняя пустоты орнаментом вычислений и цифр, мне требовалось это завершить, я ни разу ничего не довела до конца. Говоря точнее, мне необходимо было сплавиться в булавку и пришпилить факт, определенность.

Я как можно быстрее снова сверилась с картой. Крестик стоял на своем месте, я не ошиблась. Оставалась только одна разумная теория: некоторые крестики могли означать места, где он ожидал найти рисунки, но еще не побывал там. Я провела пальцем вдоль береговой линии, ища ближайшую отмеченную точку; это был утес, где мы рыбачили в первый вечер, крестик стоял на воде, мне придется нырять. Если я что-то найду, это его оправдает, я пойму, что он был прав; если нет, проверю следующий крестик, около острова цапель, а затем следующий.

Я уже надела купальник; мы выстирали одежду на мостках желтым обмылком в тазу с ребристой

стиральной доской, зайдя в озеро, чтобы промыть ее. Теперь одежда сушилась на веревке позади хижины: рубашки, джинсы, носки, цветное белье Анны — наша вторая шкура. Анна как будто стала спокойнее, она напевала, нанеся на лицо новый слой макияжа. Она задержалась у озера, чтобы промыть шампунем пропахшие дымом волосы. Я натянула толстовку на случай, если появятся американцы. Перед уходом еще раз попыталась найти его камеру, ту, которой он должен был делать снимки, но ее нигде не было; должно быть, она была при нем. В тот, последний раз.

Я начала спускаться по ступенькам, еще не видя их. Все трое были на мостках, за деревьями. Анна сидела на коленях в оранжевом бикини, с полотенцем, обернутым вокруг головы, словно монашка; Дэвид стоял над ней, уперев руки в бока. Джо с кинокамерой сидел чуть поодаль, свесив ноги с края и не глядя в их сторону, как бы из деликатности. Услышав, о чем они говорят, я застыла на месте. Мне нужна была одна из лодок, но приближаться к этому месту сейчас было слишком опасно. День выдался тихий, звук хорошо разносился.

— Ладно тебе, снимай, — сказал Дэвид в своей шутливой манере.

— Я к тебе не лезла, — уклончиво сказала Анна сдавленным голосом.

— Ты не пострадаешь, нам нужна обнаженная красотка.

— За каким чертом? — теперь Анна разозлилась; она запрокинула голову, обернутую полотенцем, и смотрела искоса.

— Для «Случайных сцен», — ответил Дэвид терпеливо, и я подумала: «Они все перепробовали, больше им тут нечего снимать, только друг друга, а следующей буду я». — Ты будешь после мертвой птицы, это твой шанс стать звездой, ты ведь всегда хотела прославиться. Тебя покажут на образовательном канале, — добавил он так, словно это была особая приманка.

— О, ради бога, — сказала Анна.

Она снова взяла бульварный романчик и сделала вид, что читает.

— Ну же, нам нужна обнаженная красотка с большими сиськами и задницей, — проговорил Дэвид тем же нежным голосом.

Я узнала эту угрожающую мягкость финальной реплики, как в школе, когда над тобой собирались подшутить.

— Слушай, оставь меня в покое, — сказала Анна. — Я занимаюсь своим делом, а ты занимайся

своим. Хорошо?

Она встала, ее полотенце размоталось, когда она попыталась пройти мимо него к берегу. Он преградил ей путь.

— Я не буду снимать ее, если она не хочет, — заявил Джо.

— Это просто видимость сопротивления, — сказал Дэвид. — Ей хочется, в душе она эксгибиционистка. Ей нравятся ее роскошные формы, разве нет? Даже если она набирает лишний вес.

— Не думай, будто я не знаю, чего ты хочешь, — бросила Анна с таким видом, словно разгадала загадку. — Ты хочешь унизить меня.

— Что такого унизительного в твоем теле, дорогая? — спросил Дэвид игриво. — Мы все его любим. Ты этого стыдишься? Ты такая скупая, ты должна делиться своим богатством; и ведь ты делишься.

Анна взбеленилась, он ее довел.

— Да отвянь ты! — выкрикнула она. — Ты, мать твою, думаешь, все будет по-твоему, да? Со мной такое не пройдет.

— Но почему? — Дэвид не терял хладнокровия. — Это работает. А теперь просто сними это, как хорошая девочка, или мне придется самому это сделать.

— Оставь ее в покое, — попросил Джо, качавший ногами, от скуки или раздражения, определить было нельзя.

Мне хотелось побежать на мостки и остановить их, драться было плохо, нам этого не разрешали, а если мы дрались, нас обоих наказывали, как и в реальной войне. Так что мы воевали тайно, негласно, и с какого-то времени я перестала отбиваться, поскольку никогда не выигрывала. Единственной защитой было убежать, стать невидимой. Я присела на верхнюю ступеньку.

— Заткнись, она моя жена, — сказал Дэвид.

Его рука сжала ее плечо. Она дернулась, тогда я увидела, как его руки обхватывают Анну, будто он хотел поцеловать ее, но он подхватил ее и закинул себе на плечо, так что волосы свесились мокрыми прядями.

— Ладно, мандавошка, — сказал он, — раздеваешься или летишь в озеро?

Анна ухватилась за бахрому его рубашки.

— Если я полечу, ты тоже.

Она произнесла это из-за завесы мокрых волос, молотя ногами, и я не могла понять, смеялась она или плакала.

— Снимай, — бросил Дэвид Джо, а потом Анне: — Считаю до десяти.

Джо поднял камеру и навел на них, как базуку или какой-то странный пыточный инструмент, затем нажал кнопку, рычажок, и камера зловеще зажужжала.

— Ну ладно, — сказала Анна, сдерживая гнев, — ты подлючий ублюдок, чтоб ты сдох.

Он поставил ее на ноги и отошел. Ее руки, локтями наружу, стали бороться с застежкой, словно жук сучил лапками на спине, и лифчик упал — я увидела, как ее грудь разделилась надвое: два плода на тонком деревце.

— Низ тоже, — приказал ей Дэвид, словно упрямому ребенку, и она, окинув его презрительным взглядом, нагнулась. — Теперь покажи сексуальность, подвигай попой; потанцуй для нас.

Секунду Анна стояла, красно-коричневая, с желтым пухом и белыми следами от купальника, глядя на них с ненавистью. Потом резко показала им средний палец, пробежала до края мостков и прыгнула в озеро. Она шумно хлопнулась животом, подняв уйму брызг, словно яйцо разбилось. Вынырнув, с волосами, прилипшими ко лбу, она поплыла по дуге к песчаному мысу, неуклюже молотя руками по воде.

— Снял? — спросил Дэвид спокойно, через плечо.

— Кое-что, — ответил Джо. — Может, ты ей прикажешь еще так сделать?

Я подумала, что это сарказм, но не могла быть уверена. Джо принялся откручивать камеру от треножника.

Мне было слышно, как Анна с шумом рассекала воду, а потом наткнулась на невидимый песчаный мыс; теперь она по-настоящему плакала, глубоко и хрипло всхлипывая. Зашуршали кусты, она выругалась; затем она возникла на верхушке холма: видимо, забралась, цепляясь за ветки деревьев. Ее розовое лицо расплывалось, а кожа была покрыта песком и сосновыми иголками, как у обгорелой пиявки. Она прошла в хижину, не взглянув на меня и ничего не сказав.

Я встала. Джо уже ушел, но Дэвид был еще на мостках, он сидел, скрестив ноги. Безопаснее иметь с каждым из них дело без свидетелей; я спустилась за лодкой.

— Привет, — обратился он ко мне. — Как дела?

Он не знал, что я все видела. Он был босиком и ковырял ноготь на ноге, будто ничего не случилось.

Я подумала, что Дэвид как я: мы те, кто не знает, как любить, в нас какой-то фундаментальный изъян, мы родились такими, как однорукая ма-

дам в магазине, но только с атрофией сердца. Джо и Анна счастливчики, они любят отчаянно и страдают из-за этого, но лучше видеть, чем быть слепым, даже если, кроме прочего, ты увидишь беззаконие и зверства. А может, это мы нормальные, а те, кто могут любить, уроды — у них лишний орган, вроде рудиментарного глаза на лбу у амфибий, от которого им никакой пользы.

На мостках лежало бикини Анны, скомканное, точно сброшенная куколка. Он поднял лифчик и принялся играть с лямкой. Я не хотела ничего говорить, это меня не касалось, но спросила против воли:

— Зачем ты это сделал?

Мой голос был ровным, и я поняла, что спрашиваю не ради Анны — я не защищала ее; я спрашивала для себя, мне требовалось понять.

Сначала он попробовал притвориться.

— Что? — произнес он с невинной усмешкой.

— То, что ты с ней сейчас сделал.

Он пристально посмотрел на меня, силясь понять, обвиняю ли я его, но я отвязывала лодку с полным безразличием, и он решил выговориться как на исповеди.

— Ты не знаешь, что она делает со мной, — начал он чуть жалобно. — Она сама напрашивается,

вынуждает меня. — Его голос стал вкрадчивым. — Она ходит налево, думает, я ничего не вижу, но она слишком тупая, я каждый раз узнаю, просто чую по ней. Не то чтобы я был против, если бы она гуляла открыто и была честна со мной — видит бог, я не ревную. — Он улыбнулся с искренним видом. — Но она двуличная, а этого я не терплю.

Анна мне ничего подобного не говорила, она что-то скрыла, или же он врал мне.

— Но она тебя любит, — сказала я.

— Чушь собачья, — усмехнулся он. — Она хочет отрезать мне яйца.

В его глазах было больше грусти, чем злости, будто когда-то он считал ее лучше, чем она есть.

— Она тебя любит, — повторила я, словно срывая лепестки с ромашки.

Это было волшебное слово, но оно не срабатывало, поскольку я в него не верила. Мой муж говорил это снова и снова, как прогноз погоды, словно чеканил на мне; и с таким возмущением, словно это я делала ему больно, а не наоборот. Несчастный случай, так он называл это.

– *Мне* она такого никогда не говорит, — признался он. — У меня впечатление, что она хочет уйти, ждет подходящей возможности. Но я не спрашивал, мы больше почти не разговариваем,

только если на людях.

— Может, зря? — спросила я неуверенно, прозвучало это неубедительно.

— О чем с ней говорить? — он пожал плечами. — Она слишком тупая, не может понять, что я ей говорю; господи, да она даже когда смотрит телевизор, шевелит губами. Она ничего не знает, всякий раз, как открывает рот, выставляет себя на посмешище. Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал он почти жалобно, — но я всецело за равноправие полов; она просто не равна мне по уму — я что, в этом виноват? Я женился на ее сиськах, она меня охмурила, я тогда учился в семинарии, в то время не было ничего лучше. Но это жизнь.

Он пошевелил усами и рассмеялся как Вуди Вудпекер, выпучив глаза.

— Думаю, вы с этим справитесь, — предположила я.

Я закрепила весло на планшире и забралась в лодку. Мне вспомнилось, что говорила Анна об эмоциональной вовлеченности: «у них это было», — подумала я, и они ненавидят друг друга; должно быть, ненависть поглощает почти так же, как любовь. Парочка в деревянном домике на барометре, закрепленном в нише на крыльце Поля, мой идеал; только они приклеены, приго-

ворены к тому, чтобы покачиваться туда-сюда, в солнце и дождь, им никуда не деться. Когда он снова увидел ее, не было ни покаяний, ни многословных примирений, ни прощений — для них все это осталось в прошлом. Они не станут вспоминать об этом, они достигли равновесия, в чем-то похожего на мир. Наши мама с папой на пильных козлах позади хижины, мама держится за дерево, белую березу, папа пилит, солнце сквозь ветви освещает их волосы, благодать.

Лодка качнулась.

— Эй, — произнес он, — а куда ты?

— Да…

Я повела рукой в сторону озера.

— Не нужен гребец на корме? — спросил он. — Я хоть куда, у меня теперь такая сноровка.

Он бахвалился, как будто нуждался в компании, но я не хотела брать его с собой — пришлось бы объяснять, что я делаю, и он не смог бы мне помочь.

— Нет, — отказалась я, — но все равно спасибо.

Я опустилась на колени, наклонив лодку набок.

— Ладно, — сказал он, — до встречи, еще не вечер.

Он поднялся и неспешно пошел в сторону хи-

жины, его полосатая футболка просвечивала между стволами деревьев, удаляясь от меня, пока я скользила из бухты в открытые воды.

Глава семнадцатая

Я двигалась к утесу. Утреннее солнце поднималось отлого, свет был не желтым, а ясно-белым. В небе летел самолет, так высоко, что я едва слышала его, он будто сшивал города своим дымным следом; крестик в небе, не святое распятие. Силуэт цапли, пролетевшей над нами, когда мы рыбачили в первый вечер, вытянув лапы и шею, раскинув крылья, серо-синий крест, и другая цапля (а может, та же?), изувеченная и висевшая на дереве. Умерла ли она по своей воле, добровольно, по своей ли воле умер Христос? Все, что страдает и умирает вместо нас, это Христос; если бы не убивали птиц и рыб, то убили бы нас. Животные умирают, чтобы мы могли жить, они замещают людей; когда осенью охотники убивают оленя, это тоже Христос. И мы их едим, в консервах и приготовленных любым другим способом; мы едоки смерти, мертвая Христоплоть воскресает в нас, давая нам жизнь. Мясные консервы, консервированный Иисус, даже растения — это тот же Христос. Но почитать их мы отказываемся; тело выражает почитание кровью и мышцами, но только не серая масса у нас в голове, она этого

не желает, мозг алчный, он потребляет без благодарности.

Я достигла утеса — «американцев» там не было. Двигаясь вдоль него, прикинула, где лучше нырнуть: утес смотрел на восток, его освещало солнце, это было правильное время; я решила начать с левой стороны. Нырять одной было опасно, требовался второй человек. Но я подумала, что помню, как это делается: мы брали лодки или мастерили плоты из отбившихся бревен и досок, часто у них рвались веревки, и их уносило весной, когда шел лед; бывало, потом они нам снова попадались, свободно дрейфующие, как отколовшиеся куски ледника.

Я вставила весло в уключину и сняла толстовку. Я решила нырять в нескольких футах от склона утеса, а потом подплыть к нему: иначе существовала опасность удариться головой; склон казался отвесным, но под водой мог быть уступ. Я опустилась на колени на кормовое сиденье, затем поставила ноги на планширы и медленно поднялась. Согнув колени, распрямилась, и лодка качнулась, как трамплин. В воде возник мой силуэт, не отражение, а тень, искривленная и размытая, с лучами вокруг головы.

Мой позвоночник взвыл, я бухнулась в воду

и заработала ногами, устремляясь вниз, сквозь озерные слои, от серого к темно-серому, от прохладного к холодному. Я выгнулась вбок, и надо мной замаячил склон, серо-буро-розовый; я поплыла вдоль него, касаясь почвы пальцами, точно улитка, ползущая по осклизлой поверхности, почти ничего не видя. Когда мои легкие стало жечь, я изогнулась и всплыла, выпуская пузыри, подобно лягушке, в направлении лодки, висевшей между водой и воздухом, — связующее звено и спасательный плот. Волосы облепили лицо. Я накренила лодку и мешком перевалилась через борт; я ничего не увидела. Руки, болевшие с прошлого дня, ныли еще сильнее, все тело гудело — оно помнило движения, но отвыкло от них — это было все равно что учиться ходить после долгой болезни.

Я немного подождала, затем продвинула лодку чуть дальше и снова нырнула, напряженно вглядываясь, ожидая увидеть что угодно: отпечаток руки или животное, тело ящерицы с рогами, хвостом и вперед смотрящей головой, птицу или лодку с палочками-гребцами; или что-то маленькое и абстрактное — круг, луну; или длинную искаженную фигуру человека, похожую на детский угловатый рисунок. Воздух кончился, я

всплыла на поверхность. Тоже ничего. Значит, это где-то дальше или глубже; я не сомневалась, что это где-то здесь, он бы не стал так методично отмечать и надписывать цифрами карту без причины, это было бы нелогично, а он всегда следовал собственным правилам, аксиомам.

Нырнув снова, я решила, что увидела это — какое-то пятно, тень, перед самым всплытием. Когда я лежала в лодке, тяжело дыша, у меня кружилась голова, и зрение туманилось, требовалось подождать хотя бы полчаса; но я ликовала, рисунок был там, я вот-вот могла найти его. Очертя голову я оттолкнулась и нырнула.

Бледно-зеленая тьма, все темнее и темнее, слой за слоем, глубже, чем прежде, морское дно; вода как будто уплотнилась, в ней мельтешили точки света, красные и синие, желтые и белые, и я поняла, что это рыбки, обитатели глубин, фосфоресцентные вспышки на плавниках, неоновые зубы. Впечатление было чудесное, я радовалась, что нырнула на такую глубину и смотрела на рыб, напоминавших узоры на сетчатке закрытых глаз, мои руки и ноги казались невесомыми, я плыла по течению, почти забыв, зачем я здесь.

И тут я увидела это, только это оказался не рисунок, причем даже не на скале, а подо мной.

Оно поднималось ко мне с глубочайшего уровня, где не было ничего живого — темный овал с колыхавшимися конечностями. Очертания были размыты, но я увидела его глаза, они были открыты, в них было что-то, о чем я знала, что-то мертвое, смерть.

Я развернулась, страх вырвался у меня изо рта серебристыми пузырями, паника сжала мне горло, сдерживаемый крик душил меня. Высоко надо мной в солнечном ореоле была зеленая лодка — путеводная звезда, безопасность.

Но лодка была не одна, их было две — она разделилась надвое или у меня двоилось в глазах. Я выпростала руку из-под воды, ухватилась за планшир и вынырнула; из носа полилась вода, я жадно глотала воздух, живот и легкие сжимались, а волосы облепили меня точно водоросли, озеро несло ужас, оно источало смерть, и она коснулась меня.

В другой лодке был Джо.

— Он мне сказал, ты поплыла в эту сторону.

Должно быть, Джо почти доплыл до меня, когда я прыгнула, не заметив его. Я ничего не могла сказать, мои легкие горели, у меня едва хватило сил влезть в лодку.

— Какого черта ты тут делаешь? — спросил он.

Я лежала на дне лодки, закрыв глаза; мне хотелось, чтобы его тут не было. Оно снова возникло у меня в голове: сперва я подумала, что это был мой утонувший брат, с волосами, разметавшимися вокруг лица, такой образ преследовал меня с самого рождения; но это не мог быть он, ведь он в итоге выжил и был где-то далеко. И тогда я догадалась: мне привиделся вовсе не брат, а нечто, связанное с ним.

Я сообразила: это нечто свернулось внутри банки, уставившись на меня как заспиртованная кошка; у него были большие желеобразные глаза, плавники вместо рук и рыбьи жабры, я не могла выпустить его, оно уже умерло, захлебнулось воздухом. Оно ждало меня, когда я просыпалась, вися в воздухе, словно чаша, зловещий грааль, и я подумала: «Что бы это ни было, часть меня или другое существо, я убила его. Это был не ребенок, но мог бы быть, я не хотела его».

Вода вытекала из меня в лодку, я лежала в луже. Я была в бешенстве из-за них, я сшибла это со стола — моя жизнь на полу, стеклянное яйцо, разбившееся в кровь, ничего нельзя было поделать.

Нет, не так, я его никогда не видела. Они выскребли его в ведро и выбросили куда положено; к тому времени как я проснулась, он плыл по

канализации, обратно в море, я протянула к нему руку, и все исчезло. Банка была логичным, предельно логичным рудиментом пойманных и разлагавшихся животных, порождением моего ума, барьером, отгораживавшим меня от смерти. Даже не больница, без всяких юридических формальностей, официальных процедур. Это был дом, обшарпанная входная дверь, журналы, лиловый бегун на полу в прихожей, вьюнки и цветы, запах лимонного мыла, незаметные двери и перешептывания, тебя там не станут держать лишний день. Лицемерие как бы медсестры, ее кислотные подмышки, лицо, припудренное участием. Я бродила по прихожей, от цветка к цветку, ее преступная рука у меня на локте, другая рука цеплялась за стену. Кольцо у меня на пальце. С меня было достаточно, более чем, с меня было достаточно этой реальности, навсегда, я не могла принять ее, этого унижения, того, что я наделала, мне требовалась другая версия. Я сложила все вместе так хорошо, как могла, и разгладила, как альбом для рисования, как коллаж, заклеив неправильные куски. Придуманный альбом, поддельные воспоминания, как паспорт; но карточный домик был лучше, чем никакого, и я почти смогла жить в нем, я жила в нем до

этого момента.

Он не пошел со мной в то место, где они сделали это; его собственные дети, настоящие, устраивали вечеринку в честь дня рождения. Но он приехал потом, забрать меня. День был жаркий, и, выйдя на солнце, мы на секунду ослепли. Это была не свадьба, там не было голубей, почта и газон находились в другой части города, куда я ходила за марками; фонтан с дельфинами и херувимом, у которого отсутствовала половина лица, был из фабричного городка: я сложила это вместе, чтобы у меня было что-то свое.

— Вот и все, — сказал он. — Тебе уже лучше?

Я была опустошена, ампутирована; от меня воняло солью и антисептиком, они посеяли во мне смерть, как семя.

— Ты холодная, — заметил он, — лучше отвезти тебя домой.

Он пристально всматривался в мое лицо на свету, но руки держал на руле, для надежности. На моих безжизненных коленях лежала сумка, портфель. Я не могла поехать к ним, домой, я больше не бывала там, я послала им открытку.

Они так никогда и не узнали ни об этом, ни о том, почему я ушла. Их собственная невинность не позволила мне сказать им; пагубная

невинность, державшая их за стеклом, в их искусственном саду, в теплице. Они не учили нас, как быть со злом, они его не понимали — как же я могла описать его им? Они были из другого времени, доисторического, где все женились и жили семьями, с детьми, росшими в саду, словно подсолнухи; они были далекими, как эскимосы или мастодонты.

Я открыла глаза и села. Джо был по-прежнему рядом; он держался за край моей лодки.

— Ты в порядке? — спросил он.

Его голос еле доходил до меня, словно приглушенный чем-то.

Он сказал, мне нужно это сделать, он заставил меня; он говорил об этом как о чем-то нормальном и простом, как об удалении бородавки. Он сказал, это не было личностью, всего лишь животным; я должна была понимать, что тут нет никакой разницы: оно пряталось во мне, как в норке, а я, вместо того чтобы дать ему убежище, позволила им поймать его. Я могла сказать нет, но не сказала; поэтому я тоже была одной из них, убийцей. После этой бойни, после убийства, он не мог поверить, что я больше не хочу его видеть; это поражало его, он негодовал, он ожидал благодарности за то, что устроил все для меня,

подлатал меня, чтобы я была опять как новая; «другие бы, — сказал он, — не морочились». С тех пор я носила эту смерть с собой, прикрывая ее, как кисту, опухоль, черную жемчужину; благодарность, которую я теперь ощутила, предназначалась не ему.

Я должна была выйти на берег и оставить что-то: так полагалось, оставить часть своей одежды в качестве подношения. Мне было жалко монеток, которые я добросовестно клала на блюдо для пожертвований — я получала так мало взамен: в пошлых тонированных открытках с Иисусом не осталось никакой силы, как и в статуях разных святых, застывших и стилизованных, священные имена годились теперь только для ругани. Эти боги, здесь, на берегу или в воде, непризнанные или забытые, были единственными, кто дал мне что-то, в чем я нуждалась, причем даром.

Теперь мне стал понятен смысл крестиков и рисунков на карте: в начале, он, должно быть, просто отмечал места наскальной живописи, вычисляя местоположение, калькируя и фотографируя, — хобби, чтобы убить время; но затем он выяснил их природу. Индейцы не претендовали на спасение, но когда-то они знали, где можно обрести искупление, и оставили знаки, отме-

чающие священные места, такие места, где ты можешь узнать истину. Не было никаких рисунков на озере белых берез, как и здесь, потому что его позднейшие рисунки не были перерисовками наскальной живописи. Он обнаружил новые места, новые прорицания: он рисовал то, что увидел там, подобно тому, что увидела я, — ему открылась истина; самая последняя, за пределом беспомощной логики. Когда это случилось с ним впервые, он, должно быть, пришел в ужас — это все равно как открыть обычную дверь и оказаться в другой галактике, с лиловыми деревьями, красными лунами и зеленым солнцем.

Я качнула весло, Джо убрал руку, а лодка поплыла к берегу. Я влезла в парусиновые туфли, натянула толстовку и вышла на берег, привязав лодку к дереву. Я вскарабкалась по склону к утесу, по одной стороне которого росли деревья, а с другой была отвесная скала. Пахло смолой, низкая поросль царапала голые ноги. Там был уступ, я заметила его еще с озера и могла бы бросить толстовку на него. Я не знала имен тех, кому делала подношение; но они были здесь, и у них была сила. Свечи перед статуями, костыли на ступенях, цветы в банках у придорожных распятий в благодарность за исцеления, какими бы надуман-

ными и неполными они ни были. Одежда была лучше, она была ближе и существеннее; и дар, что я получила, был серьезнее, чем зажившая рука или глаз, ко мне постепенно возвращалась чувствительность, я ощутила покалывания, как в отсиженной ноге.

Я оказалась напротив уступа; его покрывал олений мох, свисавший гроздьями, сплетаясь с ветвями, его красные кончики сверкали на солнце. Он был на расстоянии вытянутой руки, на отвесной скале; я аккуратно сложила толстовку и перебросила на утес.

Что-то зашумело позади меня — через поросль продирался Джо, я совсем о нем забыла. Поравнявшись со мной, он взял меня за плечи.

— Ты в порядке? — повторил он.

Я не любила его и была далеко от него, как будто видела его сквозь мутное стекло или глянцевую бумагу; ему здесь было не место. Но он существовал, он заслуживал того, чтобы жить. Мне захотелось рассказать ему, как можно стать другим, чтобы он тоже попал в это место, где я побывала.

— Да, — сказала я.

Я коснулась его руки. Моя кисть коснулась его руки. Рука тронула кисть. Слова разделяют нас, а

я хотела быть цельной.

Он поцеловал меня; я стояла по другую сторону окна. Когда он отстранился, я произнесла:

— Я не люблю тебя.

Я собиралась объяснить ему, но он, похоже, ничего не слышал, целуя мое плечо, шаря пальцами по застежке на спине, а затем гладя по бокам, он налегал на меня, как будто пытался сложить садовый стул, — он хотел, чтобы я легла на землю.

Я раскинулась внутри своего тела, ощущая под собой прутики и сосновые иголки. В тот момент я подумала: «Возможно, я для него такая дверь, какой для меня стало озеро». В нем сгустился лес, стоял полдень, солнце было у него за головой; я не видела его лица, лучи солнца исходили из центра тьмы, моей тени.

Его руки опустились, я услышала звук молнии, зубчики за зубчики, он поднимался из меховой шкуры, твердый и тяжелый; но, когда одежда отделилась от него, я увидела, что он человек, я не хотела пускать его в себя, это было бы святотатство, он был одним из убийц, за ним тянулись изувеченные глиняные жертвы, и он ничего этого не видел, не знал про себя, про свою способность нести смерть.

— Не надо, — попросила я, когда он наваливал-

ся на меня, — я тебя не хочу.

— Да что с тобой такое? — проворчал он сердито.

А затем стал вонзаться в меня, держа за руки, прижимаясь зубами к моим губам, подчиняя своей воле, он бился об меня так настойчиво, словно пытался что-то доказать.

Я высвободила руку и схватила его за горло, перекрыв воздух, и отвела его голову.

— Я залечу, — сказала я, — сейчас такой день.

Это была правда, она его остановила: плоть плодит плоть — чудо, — это всегда их пугает.

Он приплыл первым, обогнав меня, его ярость разогнала лодку, словно мотор. Когда я добралась до берега, его уже не было.

Глава восемнадцатая

В хижине никого не было. Она стала другой, больше, словно я не была здесь очень давно: та часть моей души, что начала возвращаться, еще не привыкла к ней. Я снова вышла из домика, открыла калитку огороженного прямоугольника и осторожно села на качели, веревки еще держали мой вес; я стала мягко покачиваться вперед-назад, не отрывая ног от земли. Скалы, деревья, песочница, где я когда-то делала домики с камнями на месте окон. Птицы были рядом, синицы и сойки; но они опасались меня, они были неприрученными.

Я повернула кольцо на пальце левой руки — сувенир: это он подарил его мне, «чистое золото», — сказал он, это не для хвастовства, а чтобы нас охотнее пускали в мотели — это такой универсальный ключ; остальное время я носила его на цепочке на шее. Холодные ванные, взаимозаменяемые, ощущение плитки под голыми ногами, когда входишь в них, обернувшись чьим-то полотенцем, в дни резинового секса, дни предохранения. Он клал свои часы на ночной столик, чтобы случайно не задержаться.

Для него на моем месте могла быть любая, но для меня он был неповторимым, первым, я у него училась. Я его боготворила, бездетная невеста, обожательница, я хранила обрывки его записей как реликвии святых, он никогда не писал писем; все, что мне доставалось, — это критические замечания красным карандашом, приколотые к моим рисункам: «уд» и «НЕУД» — он был идеалистом, говорил, что не хочет, чтобы наши отношения, как он это называл, влияли на его эстетические суждения. Он не хотел, чтобы наши отношения влияли вообще на что-либо; их следовало держать отдельно от жизни. Свидетельство первой степени в рамке на стене, доказательство того, что он по-прежнему молод.

Впрочем, он говорил, что любит меня, это правда, я не выдумываю. В ту ночь, когда я заперлась в ванной и включила воду, а он плакал по другую сторону двери. Когда я сдалась и вышла, он стал показывать мне снимки своей жены и детей — его причины, его семейные трофеи, висевшие на стене, у них были имена; он сказал, я должна быть взрослой.

Я услышала тонкий звук зубного сверла — приближалась моторка с очередными американцами; я поднялась с качелей и дошла до середины

лестницы, оставаясь за деревьями. Они замедлили ход и свернули в бухту. Сев на корточки, я стала смотреть: сначала я подумала, они хотят причалить, но они только глазели, изучали, планировали нападение и захват. Они указывали на хижину и переговаривались, сверкая биноклями. Затем прибавили скорость и направились в сторону утеса, где жили боги. Но они ничего не поймают, им не позволят. Им было опасно находиться там, не имея никакого представления об этой силе; они могли пострадать, сделав неверный шаг: если в священную воду погрузятся металлические крючки, древняя сила может пробудиться, как от электричества или взрыва. Я вынесла ее только потому, что у меня был талисман — отец оставил мне подсказки: людей-животных и лабиринт из чисел.

Было бы правильно, если бы мама тоже что-то оставила мне, какое-то наследство. Его было сложным, запутанным, а ее должно было быть простым как дважды два — и это стало бы завершением. Я еще не пробудилась окончательно; они оба должны были что-то оставить мне.

Я хотела заняться поисками, но вдруг увидела, как Дэвид трусит по тропинке от нужника.

— Привет, — обратился ко мне он. — Видела

Анну?

— Нет, — ответила я.

Если бы я вернулась в дом или в огород, он бы пошел за мной и стал что-нибудь говорить. Встав, я спустилась до конца лестницы и повернула к началу тропинки в высокой траве.

Я шла по зеленой прохладе среди деревьев, новых деревьев и пеньков, пеньков и обломанных стволов с угольными корками на них, неровными и корявыми, пережившими давнее бедствие. Они возникали передо мной, над землей, глаза просеивали силуэты, названия предметов стирались, но их форма и значение оставались, животные знали сущее, не зная названий. Шесть листков, три листка, этот корень хрустит. Белые стебли изгибались знаками вопроса цвета рыбы в тусклом свете, трупные растения, несъедобные. Желтые поганки, похожие на пальцы, без названий, я никогда не запоминала их все; а дальше гриб со шляпкой и ободком, и меловым воротничком, имеющий имя: ангел смерти, или бледная поганка — смертельно ядовитый. Под ним невидимая часть, волокнистая подземная сеть, питающая этот цветок, недолговечный, как сосулька, застывшая на морозе; завтра он растает, но корни останутся. Если бы наши тела жили в земле и

только волосы торчали сверху, прорастая через перегной, казалось бы, что мы — лишь волосы, волокнистые растения.

Вот почему придумали гробы: чтобы запереть умерших, сохранить их под слоем грима; чтобы не дать им разрастаться или превращаться во что-то другое. Над ними устанавливали плиты с именами и датами, чтобы придавить к земле. Мама должна была ненавидеть все это, этот ящик, она бы попыталась выбраться; мне следовало похитить ее из той палаты, привезти сюда и отпустить в лес — она бы все равно умерла, только быстрее, проще, не как в той стеклянной коробке.

Гриб рос из земли — чистой радостью, чистой смертью, горя белым, точно снег.

Позади меня зашуршали сухие листья: он крался за мной по тропинке.

— Привет, — сказал Дэвид. — Чё делаешь?

Я не стала оборачиваться или отвечать, но он и не ждал ответа. Присев рядом, он спросил:

— Что это?

Мне пришлось сосредоточиться, чтобы заговорить с ним: английские слова вдруг показались неродными, иностранными; это было все равно что пытаться слушать два разных разговора,

мешающих один другому.

— Это гриб, — сказала я.

Но ему этого будет мало, он захочет конкретное название. Мои губы задрожали, как при заикании, и я произнесла латинское слово:

— Аманита.

— Четкий, — сказал он.

Ему явно было неинтересно. Я желала, чтобы он ушел, но он не уходил; посидев еще немного, положил руку мне на колено.

— Ну? — произнес он.

Я взглянула на него. Он улыбался, словно добрый дядюшка; у него в голове созрел план, проступавший морщинами на лбу. Я сбросила его руку, однако он снова положил ее.

— Как насчет?.. — сказал он. — Ты хотела, чтобы я за тобой пошел.

Он сжал пальцы, отнимая часть моей силы: я потеряю ее и снова лишусь цельности, и ложь опять возьмет надо мной верх.

— Пожалуйста, не надо, — попросила я.

— Ладно тебе, не усложняй, — сказал он. — Ты классная телочка, знаешь что почем, ты не замужем.

Он обхватил меня одной рукой, переходя в наступление, и притянул к себе; его шея была

морщинистой и рябой, скоро у него отвиснут брыли, и от него пахло немытыми волосами. Его усы щекотали мне лицо.

Я вывернулась и встала.

— Зачем ты это делаешь? — задала вопрос я. — Ты принуждаешь меня.

Я потерла руку в том месте, где он ее касался.

Он не понимал, о чем я говорю, и улыбнулся еще более плотоядно.

— Не злись, — попросил он, — я не скажу Джо. Будет здорово, тебе это полезно, для здоровья. — И он завыл, как Гуфи.

Он говорил об этом как о спортивных упражнениях, атлетическом выступлении, художественном плавании в хлорированном бассейне где-нибудь в Калифорнии.

— Мне это не полезно, — сказала я, — я забеременею.

Он недоверчиво вскинул брови.

— Ты меня заводишь. И сейчас двадцатый век.

— Нет, — произнесла я. — Не здесь.

Он тоже встал и шагнул ко мне. Я отступила. Он уже пошел пятнами, возбужденный самец, но голос оставался спокойным:

— Слушай, я понимаю, ты ходишь-бродишь в своей стране чудес, только не говори, что не

знаешь, где сейчас Джо; он не так щепетилен, он сейчас где-нибудь в кустах пялит раком эту ходячую манду, прямо сейчас вставляет ей.

Он быстро взглянул на часы, словно отмечая время; было похоже, что сказанное его воодушевило, глаза сверкали как пробирки.

— Ох, — выдохнула я и подумала об этом. — Может, они любят друг друга. — Это было бы логично, они ведь это умели. — А ты любишь меня? — спросила я на всякий случай. — Ты поэтому хочешь меня?

Он решил, что я либо умничаю, либо туплю, и тихо произнес: «Господи». Помолчав немного, Дэвид продолжил гнуть свою линию:

— Ты ведь не собираешься спускать ему это с рук, а? Баш на баш, как говорится.

Высказав свое мнение, он сложил руки — его финальным аргументом был ответный удар: должно быть, он считал, я почувствую себя обязанной пойти на это по расчету, из чувства справедливости. Геометрический секс — я была нужна ему для утверждения абстрактного принципа; ему было бы достаточно, если бы мы взяли наши гениталии и соединили их, как кухонные приспособления, в воздушном пространстве, тогда он решил бы свое уравнение.

Его часы поблескивали — стекло и серебро: возможно, это была его ручка настройки, ключ, заводивший его, коммутатор. Должна иметься какая-то фраза, набор слов, который сработает.

— Извини, — сказала я, — но ты меня не заводишь.

— Ты, — выдавил он, подыскивая слова, теряя контроль над собой, — фригидная сучка.

В мои глаза вдруг влилась чудесная сила, я смогла заглянуть в него и увидела, что он позер, пустозвон, накопитель политических листовок и журнальных страниц — рекламная тумба, облепленная обрывками глаголов и существительных, перемешанных так, что нельзя ничего разобрать. Даже когда в молодости он ходил по домам в черном костюме, даже это было шутовством, притворством; теперь же он был на пороге старости и не знал, на каком языке говорить, потому что забыл собственный и должен был копировать чужой. Сквозь него пучками прорастал фальшивый американец, как парша или лишай. Он был заражен, искорежен, и я не могла помочь ему: требовалось слишком много времени, чтобы исцелить его, выкопать из земли и соскрести все лишнее, чтобы добраться до сердцевины.

— Ладно, обойдусь, — бросил он. — Я не соби-

раюсь сидеть и выпрашивать третьесортную холодную курицу.

Обойдя его, я направилась обратно к хижине. Больше, чем когда-либо, я нуждалась в том, что мама спрятала для меня; силы отцовского заступничества было недостаточно, чтобы защитить меня, оно давало только знание, но были боги посильнее тех, каких чтил он. У его богов, имевших голову, рога всегда укоренялись в мозгу. Сейчас же мне нужно было не только видеть, но и действовать.

Я думала, он останется на месте, по крайней мере, пока я не скроюсь из виду, но он пошел за мной.

— Извини, что сорвался, — попросил он, и снова его голос стал другим, уважительным. — Это между нами, ладно? Ни к чему упоминать об этом при Анне, так?

Если бы он добился своего, то рассказал бы ей при первой возможности.

— Я тебя уважаю за это, — добавил он, — правда уважаю.

— Все в порядке. — Я понимала, что он *лжет*.

В обед все сидели за столом на своих привычных местах, а я обслуживала их. Ланча в тот день не было, но никто не обратил на это внимания.

— Во сколько Эванс прибывает завтра? — спросила я.

— В десять, десять тридцать, — ответил Дэвид, а затем спросил Анну: — Хорошо проводишь время?

Джо наколол вилкой очередную картофелину и отправил себе в рот.

— Фантастически, — сказала Анна. — Я позагорала и дочитала книгу, а потом долго гуляла с Джо, бродили по окрестностям. — Джо жевал с закрытым ртом, всем своим видом опровергая сказанное. — А ты?

— Отлично, — произнес Дэвид, раздуваясь от самодовольства.

Он поставил локоть на стол, легко коснувшись моей руки — как бы случайно, чтобы Анна заметила. Я отстранилась от него — он лгал обо мне; никакое животное не стало бы лгать.

Анна мрачно улыбнулась ему. Я смотрела на него: он не смеялся, устремив на нее пристальный взгляд, сейчас черты его лица проступили особенно отчетливо. Я подумала, что они знают все друг о друге, и поэтому так печальны. Но Анна была не просто печальна, она была в отчаянии, ее единственным оружием было тело, и она сражалась за свою жизнь, он был ее жизнью, ее жизнью

было сражение: она сражалась с ним, ведь если бы сдалась, баланс сил оказался бы нарушен, и он ушел бы от нее. Чтобы продолжать войну.

Мне не хотелось участвовать в этом.

— Это не то, что ты думаешь, — сказала я Анне. — Он просил меня, но я не стала.

Мне хотелось сказать ей, что я ей не враг.

Ее взгляд перебежал с него на меня.

— Ты такая чистая, — сказала она.

Я совершила ошибку — она была возмущена тем, что я не поддалась, в отличие от нее.

— Она чиста, ну да, — подтвердил Дэвид, — она маленькая пуристка.

— Джо мне сказал, она больше не дает ему, — бросила Анна, продолжая смотреть на меня.

Джо молчал, он был занят очередной картофелиной.

— Она ненавидит мужчин, — сказал Дэвид добродушно. — Либо так, либо сама хочет быть мужчиной. Верно?

Круг глаз, трибунал; в следующую минуту они возьмутся за руки и станут плясать вокруг меня, а потом свяжут и сожгут, чтобы излечить от ереси.

Может, это было правдой: я перелистывала всех своих мужчин, как книги, чтобы понять, ненавижу я их или нет. Но затем поняла, что

ненавижу не мужчин, а американцев, человеческих существ, как мужчин, так и женщин. У них был шанс, но они пошли против богов, и настало время выбрать свою сторону. Мне захотелось, чтобы здесь была машина вроде пылесоса, которая заставит их исчезнуть, чтобы я нажала кнопку, и они испарились бы, а все остальное осталось как есть, тогда животным стало бы свободнее, они бы спаслись.

— Ты не собираешься ответить? — спросила Анна с издевкой.

— Нет, — сказала я.

— Господи, — вздохнула Анна, — она действительно не человек.

И они с Дэвидом посмеялись немного, с жалостью.

Глава девятнадцатая

Я убрала со стола и соскребла жир от консервированной ветчины с тарелок в огонь, пища для мертвых. Если ты накормишь их достаточно, они вернутся; или наоборот, если накормишь достаточно, они тебя не потревожат; это было в какой-то книге, но я забыла.

Анна сказала, что вымоет тарелки. Возможно, это было способом загладить вину, компенсацией за то, что ей оказалось легче сражаться на его стороне, чем против него. По крайней мере, в этот раз. Она гремела столовыми приборами в кастрюле, напевая что-то, лишь бы я ничего не сказала ей — доверительность осталась в прошлом; ее голос занял комнату, захватил всю территорию.

Это не могло находиться нигде, кроме дома. Перед ужином я пошла в сарай за лопатой и обшарила его, а затем и огород, пока копала картошку; но там ничего не было — я бы точно заметила. Наверняка это нечто необычное, чего здесь не было, когда я ушла, — яблоко среди апельсинов, как в старых учебниках по арифметике. Она наверняка принесла это сюда специально для меня и спрятала там, где я найду, когда буду готова; и,

как отцовская загадка, это должно быть найдено после размышления, никак не сразу. Анна мыла посуду, а я вытирала, осматривая каждую тарелку, желая убедиться, что я ее знаю. Но посуда оставалась ничем не примечательной — подарок прятался где-то еще.

В общей комнате тоже не было ничего необычного. Когда мы закончили, я пошла в комнату Дэвида и Анны: там висела кожаная куртка, ее не убирали после нашей вылазки. Я проверила карманы; там ничего не было, кроме пустой металлической баночки от аспирина, старой косметической салфетки и шелухи от семечек; еще там лежал обугленный фильтр от сигареты Анны, я бросила его на пол и растоптала.

Оставалась только моя комната. Едва войдя в нее, я ощутила силу: она текла по моим рукам — от кистей до плеч — я была близко. Я оглядела стены и полки — там не было этого; нарисованные мной красотки смотрели на меня недовольными глазами. И тогда я поняла: это было в альбомах для рисования — я засунула их под матрас, толком не просмотрев. Это могло быть только там, и их не должно было быть здесь, их место было в городе, в мусорном ящике.

Я услышала гудение мотора над озером, в новой

тональности, глубже, чем у моторки.

— Эй, смотри, — позвала Анна из общей комнаты, — большая лодка!

Мы вышли на мыс. Это был полицейский катер, вроде тех, на которых ходят охотинспектора — они раньше проверяли нас как положено, не храним ли мы мертвую рыбу, есть ли у нас разрешение на ловлю, — обычная проверка.

Катер замедлил ход и приблизился к мосткам. Дэвид уже был там, я решила предоставить ему общение с незнакомцами, он разбирался в таких делах. Я вернулась в дом и встала у окна. Но Анна из любопытства спустилась к ним.

Там было двое полицейских или, вероятно, охотинспекторов, в обычной одежде; третий был светловолосый, вероятно, Клод из деревни, и еще четвертый, постарше, похожий на Поля. Было странно, что на катере оказался Поль: если бы он собирался навестить нас, то приплыл бы в своей лодке. Дэвид пожал всем руки, и они столпились на мостках, разговаривая вполголоса. Дэвид сунул руку в карман, за разрешением; затем он почесал шею, выражая беспокойство. По тропинке от нужника к ним подошел Джо, и разговор возобновился; Анна повернула голову в мою сторону.

Затем я увидела, как Дэвид поспешно поднимается по лестнице, шагая через две ступеньки. Сетчатая дверь хлопнула за ним.

— Нашли твоего отца, — произнес он, тяжело дыша после подъема.

Он прищурился, как бы в знак сочувствия.

Дверь хлопнула снова, вошла Анна; он приобнял ее, и они стали буравить меня взглядами, как и за ужином.

— Ох, — сказала я, — где?

— Какие-то американцы нашли его в озере. Они рыбачили, зацепили его случайно; узнать его было нельзя, но там один старик по имени Поль как-то там говорит, что знает тебя, он опознал одежду. Они решили, он упал с утеса или что-то такое, у него проломлен череп.

Задрипанный волшебник из универмага достает моего отца из ниоткуда, словно чучело кролика из шляпы.

— Где? — спросила я.

— Это ужасно, — сказала Анна. — Мне так жаль.

— Они не знают, где это случилось, — ответил Дэвид. — Его, наверно, отнесло течением; у него на шее была камера, здоровая такая. Они думают, ее вес удерживал его под водой, иначе его нашли

бы раньше.

В его глазах промелькнуло злорадство.

Это было умно с его стороны — догадаться насчет пропавшей камеры, поскольку я ничего им не говорила. Должно быть, он быстро соображал, раз смог придумать все это на ходу: я знала, что он лжет, он делал это, желая поквитаться со мной.

— Они у тебя спрашивали лицензию на рыбную ловлю? — спросила я.

— Нет, — ответил он, изображая удивление. — Хочешь поговорить с ними?

Это был риск, он должен был все хорошенько просчитать, я бы разоблачила его вранье. Может, он этого и добивался, может, задумал устроить такой розыгрыш. Я решила притвориться, будто верю ему, и посмотреть, как он покажет себя.

— Нет, — отказалась я. — Скажи им, я слишком расстроена. Поговорю завтра с Полем, когда мы вернемся в деревню, насчет распоряжений. — Так это называлось, распоряжения. — Он бы хотел, чтобы его похоронили здесь.

Убедительные детали; если Дэвид умел выдумывать, то я тоже — прочла достаточно детективных историй. Следователи, эксцентричные затворники, выращивающие орхидеи, проницательные пожилые леди с синими волосами,

девушки с выкидными ножичками и фонариками — у них все сходилось. «Но не в реальной жизни, — хотелось мне сказать им, — вы перехитрили сами себя».

Они с Анной переглянулись: они решили сделать мне больно.

— Ладно, — кивнул он.

Анна начала:

— Не лучше ли тебе… — и не договорила.

Они спустились обратно по лестнице, разочарованные, — их ловушка не сработала.

Я вошла в другую комнату и достала из-под матраса альбомы. Было еще достаточно светло, но я, закрыв глаза, ощупала обложки кончиками пальцев. Один альбом был тяжелее и теплее; я подняла его и бросила на кровать, чтобы он раскрылся. Там меня ждал мамин подарок, я могла посмотреть.

В альбоме были мои первые люди, с волосами, торчащими из головы как лучи или трава, и солнца с лицами, но сам подарок был на вырванной странице, с надорванным краем, с фигурками, нарисованными мелками. Слева была женщина с круглым, как луна, животом: внутри нее сидел младенец, глядя наружу. Напротив нее был мужчина с рогами, как у коровы, и колючим

хвостом.

Это был мой рисунок, я его нарисовала. Младенец изображал меня до рождения, а мужчина был Богом, я его нарисовала, когда брат узнал зимой о Дьяволе и Боге: если Дьяволу полагались хвост и рога, Богу они тоже были нужны — они давали силу.

Такой смысл я вложила в рисунки тогда, но теперь их первоначальный смысл был утрачен, как и смысл наскальной живописи. Это были мои проводники, она сберегла их для меня, пиктограммы, я должна была понять их новый смысл с помощью обретенной силы. Боги, их подобие: увидеть их в истинном облике означает смерть. Пока ты человек; но после преображения к ним можно подступиться. Сперва мне нужно погрузиться в другой язык.

Вибрация катера, удаляющегося. Я вложила страницу обратно в альбом и убрала его под матрас. Топот остальных по холму, я осталась в комнате.

Они зажгли лампу. Дэвид возился, что-то бормоча, а затем тасовал карты, собираясь играть в солитер; затем прозвучал голос Анны, она хотела достать другую колоду. Они играли вдвоем, выкладывая карты хлестко, как шулера, выигрывая

и проигрывая без лишних эмоций. Джо сидел на скамейке в углу, я слышала, как его спина ерзает по стене.

Для него истина еще была возможна, та, что защитит его в отсутствие слов; но остальные обращаются в металл, их кожа уже покрылась цинком, головы сплавились в медные набалдашники, а внутри зреют замысловатые детали и проводка. По столу шлепают карты.

Я раскрываю кулак, расслабляю, он снова становится ладонью с сетью линий: линия жизни — прошлое, настоящее и будущее — разрыв в ней сходится, когда я сжимаю пальцы. Когда линия сердца сходится с линией головы, как нам сказала Анна, ты либо преступник, либо идиот, либо святой. Все зависит от того, как действовать.

Их бормотание. Они не могут обсуждать меня — знают, я слышу. Они избегают меня, находят меня неадекватной, думают, я должна быть наполнена смертью, должна быть в трауре. Но ничто не умерло, все живо, все затаилось в ожидании, готовое ожить.

Часть третья

Глава двадцатая

Закат был красным, чистого тюльпанного цвета, бледнеющего до волокон плоти, плевы. Теперь остались одни прожилки, пурпурные и лиловые, небо сквозь окно, расчерченное рамами и кружевом ветвей за ними, многослойной листвой. Я в постели, под одеялом, одежда сброшена в кучу на полу, скоро он придет, они не могут тянуть вечно.

Приглушенные голоса, собирают карты, чистят зубы, сплевывают. Дуют на лампу, пламя трепещет и затухает, по потолку скользят лучи фонариков. Он открывает дверь и стоит в нерешительности, заслоняя рукой свет фонарика; после того, что было утром и днем, он не знает, как обращаться со мной. Я притворяюсь спящей, и он на ощупь входит в комнату, тихий, как мох, и расстегивает свою человечью кожу.

Он думает, я охвачена болью, он хочет избежать ее и ложится подальше от меня; но я глажу его, провожу рукой по его телу, он ошарашен, что я не сплю. Вскоре он ко мне поворачивается, скованно, руки ощупывают меня повсюду, и я чую на нем Анну, лосьон для загара и розовую

мазь для лица, и дым, но это неважно; важен другой запах, запахи, простыни, шерсть и мыло, шкуры в химической обработке, я здесь не могу. Я сажусь, свешиваю ноги с кровати.

— Что теперь? — спрашивает он шепотом.

Я тяну его за руки:

— Не здесь.

— Господи! — Он пытается втянуть меня назад, но я держусь ногами за край кровати.

— Молчи, — говорю я.

Тогда он выбирается из постели и идет за мной, из этой комнаты в другую и через прихожую. Открыв сетчатую и деревянную двери, я беру его за руку: вне дома есть что-то такое, от чего я защищена, но не он, я должна держать его вблизи себя, внутри радиуса.

Мы идем по земле, босиком, голые; поднимается луна, в серо-зеленом свете его тело поблескивает, как стволы деревьев и белые овалы его глаз. Он идет как слепой, натыкаясь на растения в тени, ударяясь пальцами, он еще не научился видеть в темноте. Мои чуткие ступни и свободная рука вынюхивают путь; обувь — это барьер, мешающий чувствовать землю. Двойной глухой удар, сердце сжимается: кролики, предупреждают нас и друг друга. На дальнем берегу сова, в ее голосе

перья и когти, черное на черном, кровь в сердце.

Я ложусь на землю, удерживая луну на левой руке и невидимое солнце на правой. Он опускается на колени, он дрожит, листья под нами и вокруг нас, влажные от росы, или это озеро просачивается сквозь камень и песок, мы у берега, набегают маленькие волны. Ему нужно отрастить больше шерсти.

— Что такое? — спрашивает он. — В чем дело?

Мои руки на его плечах, он плотный, смутный, силуэт, лишенный черт, копна волос, борода и луна за ним. Он нагибается надо мной; искры в глазах, он дрожит, страх или напряжение плоти, или холод. Я притягиваю его к себе, его борода и волосы падают на меня, точно папоротник, рот мягкий, как вода. Тяжелый на мне, теплый камень, почти живой.

— Я люблю тебя, — говорит он мне в шею сбоку заветные слова.

Зубы стучат, он сдерживается, он хочет как в городе, с барочными изысками, затейливыми, как компьютер, но я нетерпелива, удовольствие вторично, животным не до удовольствий. Я направляю его в себя, сейчас правильный сезон, я спешу.

Он дрожит, и я чувствую, как во мне подни-

мается мой потерянный ребенок, прощая меня, восставая из озера, где он так долго томился, его глаза и зубы фосфоресцируют; две половинки сомкнулись, переплелись, как пальцы, возникла завязь, она выбрасывает стебли. На этот раз я все сделаю сама, на корточках, одна, в углу на старых газетах; или на листьях, сухих листьях, целом ворохе, так чище. Ребенок выскользнет легко, как яйцо, котенок, и я оближу его и перекушу пуповину, кровь вернется в землю, где ей и место; луна будет полной, она поможет. Утром я смогу его увидеть: он будет покрыт блестящей шерсткой, божок, я никогда не буду учить его никаким словам.

Я крепко обхватываю его, глажу по спине; я благодарна ему: он дал мне часть себя, в которой я нуждалась. Я отведу его обратно в хижину, через силовое поле, которое теперь давит на нас, как глубокое море на ныряльщика, а потом отпущу его.

— Нормально? — произносит он; он лежит на мне, тяжело дыша. — Нормально было?

Он имеет в виду две разные вещи; но я говорю «да», отвечая на третий вопрос, незаданный. Никто не должен это узнать, или они снова сделают это со мной, привяжут меня к машине смерти,

машине опустошения, ноги на металлической раме, тайные ножи. На этот раз я им не позволю.

— Тогда хорошо, — говорит он; он опирается на локти и ласкает меня пальцами и губами, гладит мою шею, волосы. — Что было днем… ничего, это ничего не значило; это она хотела. — Он перекатывается и ложится рядом, уткнувшись носом мне в плечо, чтобы согреться; он снова дрожит. — Черт, — ворчит он, — холодно, мать твою. — И осторожно спрашивает: — А теперь ты меня?..

Любовь, ритуальное слово, он снова хочет знать; но я не могу дать ему искупление, даже солгав. Мы оба ждем, что я отвечу. Дует ветер, наполняя легкие шуршащих деревьев, кругом, повсюду плещется вода.

Глава двадцать первая

Когда я просыпаюсь, уже утро, мы снова в постели. Он проснулся раньше, его голова нависает надо мной — он изучает меня спящую. Он улыбается масленой улыбкой, довольный, его борода раздулась, словно горло поющей лягушки, он опускает лицо и целует меня. Он все еще не понимает, он думает, что выиграл, заарканил меня за шею своей плотью, посадил на привязь и поведет назад в город, где привяжет к забору или дверной ручке.

— Ты соня, — говорит он.

Он забирается на меня, но я смотрю на солнце — уже поздно, почти полдевятого. Из общей комнаты доносится металлическое позвякивание, они встали.

— Не нужно спешить, — произносит он, но я отпихиваю его и одеваюсь.

Анна готовит еду, скребет ложкой по сковородке. Она в своей лиловой блузке и белых клешах, в городском прикиде, а на лице густой слой макияжа, словно маска.

— Я подумала приготовить сама, — сообщает она, — чтобы вы могли выспаться.

Должно быть, она слышала ночью, как открывалась и закрывалась дверь; она надевает улыбку, теплую, заговорщицкую, и я знаю, какие схемы смыкаются у нее в голове: соблазнив Джо, она добилась нашего сближения. Она хочет быть миротворцем, все этого хотят; мужчины думают, что добьются мира оружием, женщины — своим телом; любовь покоряет всех, покорители любят всех — миражи, порождаемые игрой слов.

Она раскладывает завтрак по тарелкам. Тушеная фасоль из консервов, обычной утренней еды больше нет.

— Свинина и бобы — музыкальные плоды; чем больше съели, тем громче трели, — говорит Дэвид и развязно крякает как Даффи Дак, изображая довольство.

Анна обслуживает его — дружная жизнь в коммуне; она легко ударяет его вилкой по руке:

— Ах ты… — затем она вспоминает про моего отца и надевает «трагическую маску»: — Сколько это займет у тебя, в смысле, в деревне?

— Не знаю, — отвечаю я, — не очень много времени.

Мы собираем вещи, и я помогаю им снести багаж вниз, вместе со своим — ворох чужеродных слов, неудачных рисунков и узел с одеждой — ни-

чего необходимого мне. Они сидят на мостках и болтают; Анна курит, у нее осталась последняя сигарета.

— Боже, — говорит она, — я буду рада устроить набег на город. Снова затариться.

Еще раз поднимаюсь по лестнице, желая убедиться, что они ничего не забыли. Сойки на месте, перелетают с дерева на дерево, перекликаясь, подавая сигналы; они ретируются на верхние ветви, все еще не решив, можно ли мне доверять. Хижина такая же, какой была до нас; когда приедет Эванс, я закрою навесной замок.

— Нужно отнести лодки наверх, пока он не приехал, — говорю я, спустившись. — Они стоят в сарае.

— Точно, — кивает Дэвид.

Он сверяется с часами, но все продолжают сидеть. Они с Джо достали камеру и обсуждают свой фильм; рядом сумка на молнии с оборудованием: тренога, катушки с пленкой.

— По моим прикидкам мы можем начать монтировать через две-три недели, — говорит Дэвид, изображая профи. — Первым делом отнесем в лабораторию.

— Осталась еще часть катушки, — напоминает Анна. — Вам нужно снять ее, меня вы сняли, а

ее ни разу.

Она смотрит на меня, выпуская дым изо рта и носа.

— А это идея, — соглашается Дэвид. — Мы все там есть, только ее не хватает. — Он окидывает меня взглядом. — Только куда мы ее вставим? У нас же еще никто не трахался; я должен это сделать, — говорит он Джо, — а ты нам понадобишься как оператор.

— Я могу быть оператором, — предлагает Анна, — а вы оба сможете участвовать. — И все смеются.

Вскоре они поднимаются, берут красную лодку, вдвоем, за оба конца, и уносят ее на холм. Я остаюсь на мостках с Анной.

— У меня шелушится нос? — спрашивает она, потирая его.

Она достает из сумочки круглую позолоченную пудреницу с фиалками на крышке. Открывает ее — раскрывает свое другое «я» — и проводит кончиком пальца в уголках губ: слева, справа; затем вынимает розовую палочку, наносит краску на щеки и перемешивает, меняя их форму — это единственная магия, доступная ей.

Она восседает на рюкзаке, словно на кушетке в гареме, и подкрашивает щеки розовым, подводит

глаза черным — «красные как кровь, черные как уголь»: потрепанная копия журнальной картинки, которая сама является копией женщины, также копирующей некий неведомый оригинал: ангела с гладкой кожей, расчерченной по линейке, в раю, где Бог — это круг, принцессу, томящуюся в чьей-то голове. Она под замком, ей не разрешается ни есть, ни испражняться, ни плакать, ни рожать — ничто в нее не входит, ничто из нее не выходит. Она снимает и надевает одежду из гардероба бумажной куклы, она спаривается под стробоскопом с мужским торсом, пока его мозг смотрит из своей застекленной кабины в другом конце комнаты, ее лицо искажается выражениями экзальтации и полнейшей неприкаянности, вот и все. Ей не скучно, у нее нет других интересов.

Анна сидит, темнота в ее глазницах, череп со свечой. Она захлопывает пудреницу и гасит сигарету о доску; мне вспоминается, как она карабкалась, плача, по песчаному склону холма только вчера, но с тех пор она засахарилась. Машина действует постепенно, она забирает тебя понемножку за раз и оставляет скорлупу. Все в порядке, пока они держатся за мертвые вещи, мертвые могут защитить себя, хуже быть мерт-

вым наполовину. Кроме того, они сделали это друг с другом, даже не заметив этого.

Я расстегиваю сумку с оборудованием для камеры и достаю упаковки с пленкой.

— Что ты делаешь? — интересуется Анна довольно равнодушно.

Я разматываю пленку, стоя в полный рост на солнце, и она спиралью вьется в озеро.

— Зря ты это делаешь, — говорит Анна, — они тебя убьют.

Но она не вмешивается, не зовет их.

Размотав катушки, открываю сзади камеру. Пленка разматывается на песчаный берег под водой, увлекаемая весом кассет; невидимые образы уплывают в озеро, словно головастики: Джо и Дэвид рядом со своим поверженным бревном, лесорубы со сложенными руками, Анна без одежды, прыгающая с края мостков, показав им палец, сотни крошечных голых Анн освобождаются из кассет на полке.

Я изучаю ее, пытаясь понять, отразится ли както на ней это освобождение, но ее зеленые глаза смотрят на меня с фарфорового лица без всякого выражения.

— Они тебе припомнят, — говорит она мрачным пророческим тоном. — Зря ты это сделала.

Дэвид и Джо уже на вершине холма — спускаются за другой лодкой. Я быстро подбегаю к ней, переворачиваю в нормальное положение, закидываю в нее весло и тащу по мосткам.

— Эй! — кричит Дэвид. — Что ты делаешь?

Они почти рядом, Анна смотрит на меня, покусывая кулак — она не может решить, сказать им или нет: если она будет молчать, они решат, что она со мной заодно.

Я спихиваю лодку кормой вперед, спрыгиваю в нее, отталкиваюсь.

— Она угробила ваш фильм, — доносится сзади голос Анны.

Я погружаю весло в воду и не оборачиваюсь, слыша возню на мостках.

— Черт, — говорит Дэвид, — черт, черт, о черт, почему ты, черт возьми, не помешала ей?

Проплывая мимо песчаного мыса, я оборачиваюсь. Анна стоит, опустив руки вдоль тела, безучастная; Дэвид на коленях, шарит руками в воде, вытаскивая пленку горстями, точно спагетти, хотя он должен понимать: это бессмысленно — все, что там было, вырвалось на свободу.

Джо там нет. Я вдруг вижу, как он бежит по краю утеса, спотыкаясь. Он с яростью выкрикивает мое имя: будь у него камень, он бы бросил

в меня.

Лодка скользит, унося нас двоих, обходя склоненные к воде деревья и удаляясь по течению. Уже слишком поздно вытаскивать другую лодку и гнаться за мной; возможно, им это даже не приходило на ум — я совершенно сбила их с толку. Мое направление ясно. Я понимаю, что уже давно планировала это, но насколько давно, сказать не могу.

Я двигаюсь мимо деревьев, лодка и руки, в едином движении, словно амфибия; вода смыкается за мной, не оставляя следа. Береговая линия поворачивает, и мы вместе с ней, озеро сужается и расходится — теперь я в безопасности, под защитой прибрежного лабиринта.

Здесь валуны; они стоят в воде бурыми тенями, напоминая тучи или что-то грозное, баррикады. С обеих сторон поднимаются откосы, по скалам стелются ползучие растения. Дно озера, когда-то бывшее землей, такое неровное, что моторка здесь не пройдет. Еще один поворот — и я в бухте, в закрытой трясине, где над стылой водой поднимаются камыши, а из черной тины вокруг пней, оставшихся от деревьев-великанов, торчит рогоз. В этом месте я выбросила мертвых зверушек и сполоснула жестянки и банки.

Я плыву по течению, весла не нужны. Мне встречаются гибнущие деревья, торчащие из-под воды, сломанные и бледно-серые, завалившиеся набок; их исполинские искривленные корни белеют, словно с них сняли кожу; на стволах, пропитанных влагой, гнездятся растения-падальщики: волчий плющ, росянки, поедающие насекомых, с округлыми листочками, утыканными клейкими красными волосками. Из венчика листьев поднимаются чистые белые цветы, выросшие из плоти комаров и мошек, ставшей лепестками, — метаморфозы.

Я ложусь на дно лодки и жду. Стоячая вода собирает тепло; птицы, где-то в лесу дятел, где-то — дрозд. Солнце проглядывает через деревья; трясина вокруг меня тлеет, энергия распада переходит в рост, зеленый огонь. Я вспоминаю цаплю; ее должны съесть насекомые, а их — лягушки, а их — рыбы, а их — другие цапли. Мое тело тоже меняется, во мне поселилось новое существо, растение-животное, распускает во мне свои нити; я бережно его транспортирую между смертью и жизнью, я размножаюсь.

Просыпаюсь от нарастающего шума мотора: он доносится с озера, это должен быть Эванс. Я пристаю к берегу, привязываю лодку к дереву.

Они не будут ожидать меня, не с этой стороны; мне следует убедиться, что они уедут с ним, как и собирались, они вполне могли бы притвориться, что уехали, а на самом деле остаться, чтобы схватить меня, когда я вернусь.

Нужно пройти меньше четверти мили через деревья, обходя заросли, шагая с осторожностью, по пунктирам секретной тропинки, туда, где стояли полки лаборатории, — если бы я не знала об этой тропе, то ни за что бы не нашла ее. Мне видно, как лодка Эванса подходит к мосткам, я у них за спиной, рядом с поленницей, лежу на земле, опустив голову, я их вижу сквозь завесу растений.

Они сутулятся, перекладывая вещи в его лодку. Мне интересно, возьмут ли они и мои вещи: одежду, фрагменты рисунков.

Все стоят и разговаривают с Эвансом, голоса тихие, слов не разобрать; но они должны объяснить ему, почему я не с ними, должны выдумать какую-то причину, происшествие. Они должны сплести заговор, составить план, чтобы захватить меня; а может, они действительно уплывут, бросив меня, и исчезнут в катакомбах города, списав меня со счетов, задвинув в дальний угол сознания, вместе с вышедшей из моды одеждой и

словечками? Скоро я стану для них чем-то столь же далеким, как стрижка ежиком и военные песни Второй мировой, смутно знакомым лицом из школьного фотоальбома, трофейной вражеской медалью, памятной вещицей или того меньше.

Джо поднимается по лестнице, выкрикивая мое имя; Анна тоже кричит, пронзительно, как свисток поезда перед отправлением. Слишком поздно — у меня больше нет имени. Все эти годы я пыталась быть цивилизованной, хоть и тщетно, а теперь мне надоело притворяться.

Джо подходит к крыльцу хижины, так что я его больше не вижу. Через минуту он снова возникает и бредет обратно к ним, с поникшим видом побежденного. Возможно, теперь он понял.

Они забираются в лодку. Анна на миг замирает, поворачивается прямо в мою сторону, и я вижу в солнечном свете ее озадаченное лицо, поразительно жалкое; видит ли она меня, может, хочет помахать мне на прощание? Но остальные тянут к ней руки и втаскивают в лодку — издалека их движения кажутся почти любовными.

Лодка кормой вперед выбирается в бухту, затем разворачивается и удаляется, взревев мотором. У штурвала Эванс в клетчатой рубашке, баранья башка, невозмутимый американец, теперь они

все американцы. Но они действительно уходят, ушли отсюда, у меня в ушах гудение мотора, а потом — тишина. Я медленно встаю на ноги, тело затекло от неподвижности; на голой плоти моих ног отпечатки листьев и веточек.

Я иду по холму и осматриваю берег, ища то место, пролив, где они исчезли: проверяю, убеждаюсь. Так и есть, я теперь одна; это то, чего я хотела, — остаться здесь одной. С точки зрения разума, как ни посмотри, я поступила абсурдно; но точки зрения разума больше нет.

Глава двадцать вторая

Они заперли двери — и в сарае, и в хижине; это сделал Джо, он мог решить, что я уплыву на лодке в деревню. Нет, это был злой умысел. Мне не нужно было оставлять ключи на гвозде, нужно было положить их в карман. Но им не стоит думать, что я не смогу забраться внутрь. Скоро они будут в деревне, в машине, в городе; что они сейчас говорят про меня? Что я убежала; на самом деле я бы убежала, поехав с ними, потому что истина здесь.

Я встаю на верхнюю ступеньку, приникаю к окнам, держась за подоконник, и заглядываю внутрь. Холщовый рюкзак с моей одеждой поставили обратно, он теперь там, на столе, рядом с моим портфелем; там же лежит детективный роман Анны, последний, который она читала, — хоть какое-то утешение, смерть логична, всегда есть какой-то мотив. Наверное, поэтому она их читала — они подтверждали то, во что она верила.

Солнце ушло, небо темнеет — возможно, к дождю. Над холмами собираются тучи, наковальни со зловещими молотами, будет гроза; а может, и

не будет, иногда тучи наползают несколько дней и проходят мимо. Мне нужно забраться внутрь. Вломиться в мой же дом, входить и выходить через окно, как поется в песне[29], воздевая руки, как мосты; раньше мы так делали.

Под хижиной за поленницей лежат носилки, они всегда там лежали: два шеста с прибитыми крест-накрест дощатыми перекладинами. Я достаю их и приставляю к стене под окном, под тем, что без сетки. Оно закрыто изнутри на угловые затворы — мне придется выбить четыре стеклянных квадратика. Делаю это камнем, отвернув голову и закрыв глаза, опасаясь осколков. Я осторожно просовываю руку в неровные пробоины, поднимаю затворы и, сняв раму, ставлю на диван. Если бы я сумела открыть сарай, то могла бы взять отвертку и открутить ушко замка от двери, но в сарае нет окон. Там топор и мачете, а также пила и другие металлические инструменты.

Перебираюсь на диван и схожу на пол — вот я и дома. Подметаю осколки, затем вставляю раму обратно. Будет неудобно каждый раз так моро-

---

[29] Примечания: 29

В оригинале: «Go In and Out the Window» — «Войди и выйди через окно» *(англ.)*, популярная детская песня, написанная Лью Поллаком. Впервые была использована в фильме по классическому роману ужасов Ширли Джексон «Призрак дома на холме» (1963 г.).

читься, чтобы выйти или войти, но на других окнах сетки, а мне нечем их прорезать. Можно попытаться ножом: если придется уходить в спешке, лучше воспользоваться одним из задних окон — они ближе к земле.

У меня все получилось; теперь я не знаю, что делать. Стою посреди комнаты, прислушиваясь: ветра нет, все тихо, озеро и деревья затаили дыхание.

Чтобы чем-то заняться, я вынимаю свою одежду и снова развешиваю на гвозди в своей комнате. Мамина куртка на привычном месте, а совсем недавно висела в комнате Анны, ее перевесили. Единственные звуки — мои шаги, стук подошв по дереву.

Должно прийти что-то новое, но сила оставила меня, мои пальцы пусты как перчатки, глаза видят только все самое обычное, ничто меня не направляет.

Я сажусь за стол и пролистываю старый журнал: пастухи штопают носки, у них суровые обветренные лица, женщины в кружевных корсажах и с красной помадой на губах изящно держат корзины с бельем на голове, улыбаясь во весь рот, обнажив все зубы, чтобы показать, как они счастливы; каучуковые плантации и

заброшенные храмы, джунгли расползаются, прикрывая безмятежных, вырезанных из камня богов. Кружок от влажной кофейной чашки на обложке, появившийся вчера или десять лет назад.

Я открываю персиковые консервы и съедаю две желтые волокнистые половинки, с ложки капает сироп. Затем я ложусь на диван, и на лицо мне черным овалом опускается сон без сновидений.

Когда я просыпаюсь, то вижу, что рассеянный свет за окном уже переместился дальше на запад, время близится к вечеру, должно быть, теперь почти шесть, пора обедать; единственные часы были у Дэвида. Во мне поднимается голод, сдавленный стон. Я открепляю окно и вылезаю, ставлю ногу на неустойчивую тачку, спрыгиваю и царапаю колено. Нужно построить лестницу; но нет ни инструментов, ни досок.

Иду в огород. Я забыла нож и миску, но мне они не нужны — достаточно пальцев. Я открываю калитку, и меня окружает проволочная сетка; за забором деревья клонятся к земле, как будто увядают, растения на грядках в сероватом свете бледные; воздух тяжелый, давящий. Я принимаюсь дергать лук и морковь.

Наконец, впервые, я начинаю плакать и вижу себя со стороны; я сижу, согнувшись, за стеблями

салата, цветы уже отцвели, пошли в семена, мое дыхание сбивается, тело напряжено; мой рот наполняется водой с рыбным вкусом. Но я их не оплакиваю, я их обвиняю: «Зачем вы так?» Это их выбор, они контролируют свою жизнь и смерть, они решили, что им пора уйти, и ушли, и воздвигли этот барьер. Они не думали о том, каково будет мне, кто обо мне позаботится. Я в бешенстве, оттого что они допустили такое.

— Вот же я, — кричу я. — Я здесь!

Голос все тоньше и тоньше от негодования, переходящего в ужас, потому что нет ответа, как в тот раз, когда мы играли в прятки после ужина и я спряталась слишком хорошо, слишком далеко, чтобы меня могли найти. Стволы деревьев так похожи — и размером, и цветом, — невозможно распознать тропинку, нужно понять, где солнце, понять направление, куда бы ты ни шел, и ты выйдешь к воде. Паниковать опасно, ты станешь ходить кругами.

— Я здесь!

Но нет ответа. Я стираю соль с лица, мои пальцы перепачканы землей.

Если действительно захочу, если буду молиться, я смогу вернуть их. Они сейчас здесь, я чую, как они ждут, на тропе, невидимые мне, или в

высокой траве за забором, они упираются, но я могу заставить их показаться, где бы они ни прятались.

Развожу огонь в печке и готовлю еду в сгущающихся сумерках. Доставать тарелки ни к чему; я ем ложкой из кастрюли и со сковородки. Не буду мыть посуду, пока не наберется достаточно; когда ведро для мытья будет полным, спущу его на веревке из окна.

Я опять выбираюсь наружу и высыпаю на кормушку остатки мясных консервов. Наползают свинцовые тучи, смыкаясь надо мной; поднявшийся ветер налетает через озеро порывами; в южной стороне дождь стоит стеной. Всполохи света, но без грома, и листья летят.

Я иду вверх по холму к нужнику, заставляя себя не спешить, не поддаваться панике, гляжу на все будто со стороны. Зайдя внутрь, закрываюсь на щеколду, я боюсь дверей, поскольку сквозь них не видно, боюсь, вдруг она откроется от ветра. Обратно я бегу под уклон и говорю себе прекратить это, я уже взрослая, взрослее некуда.

Моя сила защитила бы меня, но она ушла, иссякла, теперь от нее не больше проку, чем от серебряных пуль или крестного знамения. Но дом меня защитит, он правильной формы. Забрав-

шись внутрь, я ставлю раму на место и закрепляю ее, воздвигая баррикаду из деревянной решетки. Четыре стекла выбиты — чем их закрыть? Пытаюсь напихать в них скомканных журнальных страниц, но они не держатся, отверстия слишком большие, и бумага падает на пол. Если бы только были гвозди, молоток.

Я зажигаю лампу, но из разбитого окна сквозит, огонек дрожит и синеет, к тому же при горящей лампе не видно, что за окном. Я задуваю ее и сижу в темноте, вслушиваясь в порывы ветра, но дождя нет.

Спустя какое-то время решаю лечь спать. Я не устала, поскольку спала днем, но больше заняться нечем. Долго стою у себя в комнате, не в силах понять, почему я боюсь снимать одежду: может, волнуюсь, что они за мной вернутся, и тогда мне придется сматываться; но в грозу они не осмелятся, Эванс их не повезет, в такую погоду открытое озеро опаснее всего — и плоть, и вода проводят электричество.

Я подвязываю занавеску, чтобы стало посветлее. Мамина куртка висит на гвозде у окна, она никого не прикрывает; я прижимаюсь к ней лбом. Запах кожи, запах потери; невосполнимой. Но я не могу думать об этом. Ложусь на кровать в

одежде, и через миг по крыше уже стучит дождь. Он накрапывает, переходя в барабанную дробь, точно град, со всех сторон. Я чую, как разливается озеро, поднимаясь по берегу, надвигаясь на холм, и деревья валятся, словно песчаные башни, вздымая корни, вода подмывает дом, и он плывет, как лодка, кружась и кружась.

Среди ночи я просыпаюсь от тишины — дождь прекратился. Совершенно темно, ничего не видно, я не в силах даже шевельнуть рукой. Страх накатывает волнами, будто шаги в темноте, сразу отовсюду; он обкладывает меня, точно броней, я боюсь всей кожей, костенея. Они хотят войти внутрь, хотят, чтобы я открыла окна, дверь, сами они не могут. Только я, они зависят от меня, но я уже не знаю, кто они; как бы там ни было, они уже не будут прежними, вернувшись, они будут другими. Я призвала их своим желанием, я сама хотела этого, их прибытие вполне логично; но логика — это стена, которую я воздвигла, чтобы отгородиться от ужаса.

По крыше тихо стучит пальцами капель. Я слышу дыхание, сдержанное, осторожное, не в доме, а снаружи, со всех сторон.

Глава двадцать третья

Утром я вспоминаю, как начала различать очертания окна; должно быть, я не спала почти до рассвета. А потом подумала, что могла увидеть это во сне, так бывает, когда кажется, что не спишь.

Я завтракаю тушенкой, разогретой в котелке, и растворимым кофе. В доме слишком много окон, и я пересаживаюсь на скамейку у стены, чтобы видеть их все.

Посуду кладу в ведро, где уже лежит вчерашняя, и выливаю на нее остатки горячей воды. Затем я поворачиваюсь к зеркалу, чтобы причесаться.

Но, едва я беру щетку, моя рука застывает, меня сковывает страх — я снова чувствую силу, но она стала другой, наверное, в грозу просочилась из земли. Я понимаю, что щетка для меня под запретом, я должна прекратить показываться в зеркале. Поднимаю последний взгляд на свое кривое стеклянное лицо: глаза светло-голубые на густо-красной коже, спутанные волосы торчат, отражение мозолит мне глаза, мешая видеть истинную картину. Мешает видеть — не себя, а просто видеть. Я поворачиваю зеркало к стене,

больше оно меня не поймает, душа Анны закрыта в золотой пудренице — вот что нужно было разбить, а не камеру.

Я откреплю раму, вылезаю, и страх сразу пропадает, словно с горла убрали давящую руку. Должны быть какие-то правила: места, где мне можно быть и где нельзя. Нужно как следует прислушиваться — если я им доверюсь, они скажут, что мне позволено. Зря я их не впустила — вдруг они дали мне единственный шанс.

Загон с качелями и песочницей под запретом — я понимаю это, даже не касаясь их. Спускаюсь к озеру. Мертвый штиль, вода присыпана пыльцой, стелется туман, выползая из-за островов и бухт, солнце разгоняет его по мере подъема, жаркое и яркое, как сквозь лупу. Что-то поблескивает на воде, какая-то амфибия или коряга; когда нет ветра, все это отплывает от берега. Пахнет землей, совсем по-летнему.

Захожу на мостки, и страх говорит мне «нет»: я могу находиться у озера, но не на мостках. Мою руки, присев на плоском камне. Только бы сделать все правильно, только бы не думать ни о чем другом. Чего они хотят от меня, какую жертву?

Когда я проникаюсь уверенностью, что догадалась, что от меня требуется, то возвращаюсь в

хижину, влезаю в окно. Огонь в печке, который я разожгла для завтрака, еще тлеет: я подбрасываю полено и открываю тягу.

Расстегиваю портфель и вынимаю рисунки и листы с текстом «Квебекских народных сказок» — в городе без проблем распечатают еще — и моих кривых принцесс, и Золотого Феникса, неуклюжего и неживого, как чучело попугая. Я комкаю страницы и сую по одной в печку, чтобы не загасить огонь, туда же — тюбики краски и кисти: им нет места в моем будущем. Должен быть какой-то способ изничтожить портфель «Самсонит» — сжечь его не получится. Взяв большой нож, царапаю на нем крест — готово, я его вычеркнула.

Стаскиваю кольцо не-мужа с левой руки — с ним тоже пора разделаться раз и навсегда — бросаю его в огонь, на алтарь, даже если оно не расплавится, пусть хотя бы очистится, кровь отгорит. Нужно уничтожить все из прошлого, страницы с кругами и надменными квадратами. Я шарю под матрасом, достаю альбомы и рву их: прекрасных манекенщиц с изящными цветастыми головками, солнца и луны, кроликов с их старомодными яйцами, мою фальшивую идиллию; войны, аэропланы, танки и исследова-

телей в шлемах моего брата; возможно, на другой стороне света он чувствует, как с него сняли груз и его руки оперяет свобода. Даже мамин подарок — раздвоенную чудо-женщину и рогатого пса — нужно преобразить. И красоток со стен, с их арбузными грудями и юбками-абажурами — все мои реликвии.

И их тоже: срываю карту со стены с разметкой наскальной живописи, завещанную мне отцом; и фотоальбом, иллюстрации маминой жизни, закабалившие ее. Мои собственные лица съеживаются, чернеют, поддельные мама с отцом превращаются в пепел. Нас разделяет время, я была трусихой, я не пускала их в свою молодость, свое пространство. Теперь я должна войти в их пространство.

Когда вся бумага сгорела, я разбиваю стаканы и тарелки, и лампу. Я вырываю по одной странице из каждой книги — Босуэлл и «Тайна Стербриджа», Библия и «Шампиньоны обыкновенные», и «Строительство бревенчатого дома» — жечь все слова было бы слишком долго. Все, что нельзя сломать — сковороду, эмалированный таз, ложки и вилки, — я бросаю на пол. Затем я беру большой нож и кромсаю белье, простыни и покрывала, и палатки, и под конец свою одежду и серую куртку

мамы, отцовскую серую шляпу, плащи: эта шелуха мне больше ни к чему, я ее упраздняю, мне нужно расчистить место.

Когда я разделываюсь со всеми вещами и огонь почти прогорает, я выхожу из дома, взяв с собой одно из пострадавших одеял — мне оно понадобится, пока не вырастет шерсть. Дом закрывается за мной, тихо щелкнув.

Я разуваюсь и спускаюсь к берегу; земля влажная, холодная, рябая от дождя. Сваливаю одеяло на камень, захожу в воду и ложусь. Промокнув насквозь, снимаю одежду, сдираю, словно старые обои. Мокрые тряпки валяются сплющенные, в рукавах пузыри воздуха.

Ложусь на спину, голова на камне, невинная, как планктон; волосы извиваются в воде, текут. Земля вращается, удерживая мое тело, словно луну; в небе маячит солнце, испуская лучи красного пламени, отжигая от меня все лишнее, высушивая дождь, пропитавший меня, согревая яйцо в моей крови. Я опускаю голову под воду, промываю глаза.

У берега гагара; нагибает голову, поднимает и кричит. Она меня видит, но ей все равно, я для нее часть ландшафта.

Омывшись, я выхожу из озера, оставив свое

фальшивое тело, тканую обманку, плавать в воде; оно покачивается на волнах, расходящихся от меня, мягко липнет к мосткам.

Одежду оставляли в знак подношения раньше; одежда — это условность, а боги требовательны в абсолютной степени, они хотят все.

Солнце прошло три четверти пути, я проголодалась. Еда в хижине под запретом, мне нельзя возвращаться в эту клетку, в деревянный ящик. Также под запретом консервы и банки; они из стекла и металла. Я направляюсь в огород и рыскаю вдоль грядок, потом сажусь на корточки, завернувшись в одеяло. Ем зеленый горох прямо из стручков и сырые желтые бобы, вытаскиваю из земли морковь, надо вымыть ее в озере. В зарослях сорняков и усов мне попадается поздняя клубничина. Красная пища, цвета сердца, такая лучше всего, она священна; потом идет желтая, потом голубая; зеленая пища смешана из голубой и желтой. Я выдергиваю свеклу, счищаю грязь и вгрызаюсь, но кожура грубая, я еще не настолько окрепла.

На закате я поглощаю вымытую морковь, лежавшую в траве, где я припрятала ее, и немного капусты. Нужник под запретом, так что я валю прямо на землю и присыпаю кучку. Так делают

все норные звери.

Я устраиваю логово у поленницы, на палой листве, укрыв его стеной из сухих веток, переложенных поверху хвойными лапами. Заползаю туда и сворачиваюсь клубком, натянув на голову одеяло. Комары кусают сквозь ткань, но лучше их не бить — на кровь слетаются другие. Я сплю урывками, как кошка, живот болит. Кругом что-то шуршит; сова ухает, на том берегу или во мне, расстояния размыты. Легкий ветер, озеро что-то шепчет, многоязыкая вода.

Глава двадцать четвертая

Я просыпаюсь от света, мерцающего сквозь ветки. Кости ноют, голод разгулялся, живот словно бассейн, в котором плавает акула. Жарко, солнце почти в зените, я проспала почти все утро. Выползаю и бегу в огород за едой.

Калитка меня не пускает. Вчера было можно, сегодня уже нет: они действуют методично. Я прислоняюсь к забору, ноги влипают в землю, напитанную дождем, росой, озерной влагой, сочащейся из-под земли. Живот сводит, я отхожу в сторону и ложусь в высокую траву. Там лягушка, леопардовая, в зеленую крапинку, с золотистыми глазами, пращур. Я вижу себя в ней, блестящей, неподвижной, только горло трепещет.

Лежу на земле, ладони под головой, пытаюсь забыть голод, глядя в огород сквозь шестигранную сетку: ряды, квадраты, колышки, подпорки. Растения блаженствуют, растут как на дрожжах, всасывая влагу корнями, вверх по плотным стеблям, потея листьями, наливаясь под солнцем ядовито-зеленым — что сорняки, что культурные растения, без разницы. Под землей вьются черви, розовые вены.

Забор непреодолим; сквозь него не проникает ничего, кроме семян сорняков, птиц, насекомых и погоды. Под ним канава, глубиной два фута, выложенная битым стеклом, осколками банок и бутылок и присыпанная гравием и землей, под него не подлезут ни сурки, ни скунсы. Только лягушки и змеи пробираются, но им можно.

Огород устроен хитро. Без забора его не было бы.

Я теперь поняла их принцип. Они не могут находиться там, где что-то огорожено, закрыто: даже если я открою двери и калитки, они не смогут войти ни в дома, ни в клетки, они движутся только в свободном пространстве, они против барьеров. Чтобы говорить с ними, я приближаюсь к тому состоянию, в которое перешли они; невзирая на голод, я должна оставаться по эту сторону забора, я зашла слишком далеко, чтобы повернуть назад.

Но должно же быть что-то съедобное, что не под запретом. Думаю, кого бы я могла поймать — раков, пиявок? Нет, пока рано. Вдоль тропы съедобные растения, грибы, я знаю, какие ядовитые и какие мы собирали, какие-то можно есть сырыми.

Есть еще кусты малины, перезрелой, ягод не

так уж много, зато они красные. Я всасываю их, сладкие, с кислинкой, пронзительный вкус, зернышки хрустят на зубах. Дальше по тропе, по туннелю, в прохладу деревьев, я осматриваю землю в поисках чего-нибудь съедобного, чего угодно. Провизия — это дело Провидения, они всегда знали толк в выживании.

Я снова нахожу шестилистные растения, две штуки, выкапываю шероховатые белые корни и жую их, не теряя времени на то, чтобы отнести их к озеру и вымыть. Под неровными ногтями грязь.

Грибы все там же, один смертельно белый, я приберегу его до тех пор, пока не обвыкнусь, не буду готова, и желтая еда, желтые пальцы. Они по большей части уже слишком старые, сморщенные, но я срываю те, что помягче. Долго держу их во рту, прежде чем проглотить, вкус у них легкий, заплесневелый холст, я в них не уверена.

Что еще, что еще? Пока хватит. Сажусь, заворачиваюсь в одеяло, отсыревшее от травы, ноги замерзли. Мне понадобятся другие вещи; возможно, я смогу поймать птицу или рыбу руками, чтобы по-честному. Внутри меня зреет плод, они берут, что им нужно; если я не накормлю его, он поглотит мои зубы, кости, мои волосы истончат-

ся, будут лезть пучками. Но это я вложила его туда, я его призвала, этого шерстистого божка с хвостом и рогами, уже обретающими форму. Матери богов, что они чувствуют, голоса и свет вырываются из живота, их мутит, дурманит? Боль скручивает мне желудок, я скрючиваюсь, прижимая голову к коленям.

Медленно я возвращаюсь на тропу. Что-то случилось с моими глазами, ноги освободились, они чередуются в нескольких дюймах над землей. Я чистая, как лед, прозрачная, сквозь зеленые сети моей плоти просвечивают кости и ребенок, ребра-тени, мышцы-желе, деревья тоже такие, они мерцают, сердцевина сияет сквозь дерево и кору.

Лес вздымается неимоверно, выглядит таким, каким был до того, как его порубили, колонны застывшего солнечного света; валуны плывут, тают, все состоит из воды, даже камни. Есть язык, в котором нет существительных, только глаголы, их просто дольше произносят.

Животным речь ни к чему, зачем говорить, когда ты сам — слово.

Я прислоняюсь к дереву, я слоистое дерево.

Я снова вырываюсь на яркое солнце и съеживаюсь, головой в землю.

Я не животное и не дерево, я то, в чем движутся и растут деревья и животные, я такое место.

Я должна встать, я встаю. Сквозь землю, пробить корку, вот, я стою; снова сама по себе. Натягиваю одеяло на плечи, голова вперед.

Я слышу соек, кричат и кричат, как будто при виде врага или пищи. Они вблизи хижины, я иду к ним, вверх по холму. Они на деревьях и пикируют туда-сюда, воздух превращается в птиц, они продолжают звать кого-то.

Затем я вижу ее. Она стоит у хижины, вытянув руку, в своей серой кожаной куртке; волосы длинные, до плеч, как было модно тридцать лет назад, до моего рождения; она стоит вполоборота ко мне, я вижу ее лицо только в профиль. Она не двигается, она их кормит: одна садится ей на запястье, другая на плечо.

Я останавливаюсь. Сперва я не чувствую ничего, кроме того, что ничему не удивляюсь: вот где ее место, она все время там была. Дальше, когда я смотрю на нее, а она не двигается, я холодею от страха, боюсь, что это не по-настоящему, бумажная кукла, вырезанная моими глазами, сожженная фотография, если я моргну, она пропадет.

Должно быть, она это почуяла, мой страх. Она

спокойно поворачивает голову и смотрит в мою сторону, мимо меня, словно знает, там что-то есть, но не может толком разглядеть. Сойки снова кричат, они отлетают от нее, тени их крыльев мельтешат по земле, и вдруг ее уже нет.

Я подхожу туда, где она стояла. Сойки сидят на деревьях и каркают на меня; в кормушке все так же лежит несколько мясных обрезков, какие-то свалились на землю. Я украдкой смотрю на птиц, пытаясь увидеть ее, пытаясь понять, какая сойка — она; они подпрыгивают, оправляют перья, вертят головами, взглядывая на меня то одним, то другим глазом.

Глава двадцать пятая

Снова день, мое тело выпрыгивает из сна. Я что-то услышала, это моторка, нападение. Слишком поздно, они уже вошли в бухту, сбавив ход, и причаливали к мосткам, когда я проснулась. Я выкатываюсь на четвереньках из логова, в одеяле из бурой шотландки, и бегу, пригнувшись, вглубь, за деревья, и бросаюсь, продираюсь сквозь заросли орешника туда, откуда можно смотреть.

Их могли послать охотиться за мной, возможно, другие их попросили, это могла быть полиция; или экскурсанты, любопытные туристы. Эванс расскажет в магазине, вся деревня будет знать. Или могла начаться война, вторжение, и это американцы.

Им нельзя доверять. Они еще решат, что я человек, голая женщина, завернутая в одеяло: возможно, за этим они и явились, если кто-то бегает на свободе, без хозяина, почему бы не присвоить. Они не смогут понять, что я такое на самом деле. Но если разгадают мою истинную природу, сущность, то застрелят меня или дадут по голове и повесят за ноги на дерево.

Они неуклюже вылазят из лодки, четверо или

пятеро. Я не вижу их отчетливо, не различаю их лиц, мешают стебли и листва; но я их чую, и меня мутит от этого запаха, это спертый воздух, автобусные остановки и никотиновый дым, рты отмечены жирной щетиной, кислым вкусом медной проволоки или денег. Шкура у них красная, зеленая в клетку, синяя в полоску, и я не сразу вспоминаю, что это фальшивая шкура, флаги. Их настоящая шкура над воротниками, белая и ощипанная, с клочками волос сверху, пегая мешанина шерсти и проплешин, вроде плесневелых сосисок или павианьих задниц. Они продолжают эволюционировать, они уже наполовину машины, оставшаяся плоть немощна и нездорова, она дряблая, как мошонка.

Двое из них взбираются на холм, к хижине. Они говорят, мне отчетливо слышны их голоса, но мои уши различают только звуки, будто по радио звучат голоса иностранцев. Это должен быть английский или французский, но я не могу признать в нем ни одного языка из тех, что когда-то слышала или знала. Скрип и ворчание, они забираются внутрь через дверь или открытое окно, хруст их ботинок по разбитому стеклу. Один из них смеется — звук скребущих по шиферу граблей.

Другие трое по-прежнему на мостках. Потом они кричат: наверное, нашли мою одежду, один из них опустился на колени. Это Джо, я пытаюсь представить, как выглядит Джо. Но это ничего не меняет, он мне не поможет, он будет на их стороне; он мог дать им ключи.

Двое выходят из хижины и снова топают к мосткам, их фальшивая шкура полощется на ветру. Они скучиваются, они верещат и шипят, как пленка на перемотке, вилки и ложки на концах их рук возбужденно машут. Возможно, они думают, я утопилась, типичная ошибка.

«Только тихо», — говорю я себе, впиваюсь зубами в руку, но не могу сдержаться, смех вырывается помимо воли. Я ошарашена, тут же замолкаю, но уже поздно, они меня услышали. Резиновые подошвы топочут с мостков на землю, и бронированные головы движутся в мою сторону, кто это может быть, Дэвид и Джо, Клод из деревни, Эванс, шпион Малмстром, американцы, люди, они здесь потому, что я не продаю участок. Я им не владею, никто им не владеет, говорю я им, вам не нужно убивать меня. Выбор кролика: замереть, положиться на удачу, они тебя не увидят; и наутек.

У меня выигрышная стартовая позиция, и я

босиком. Я бегу беззвучно, лавируя между ветвями, направляясь к тропе, ведущей к болоту, там лодка, я легко смогу добраться до нее первой. На открытом озере они смогут подрезать меня на моторке, но если я заплыву в трясину, где сплетаются корни мертвых деревьев, то буду в безопасности, им придется идти за мной вброд, по мягкой грязи, они потонут как бульдозеры. Они грохочут позади меня ботинками, улюлюкают на своем языке, перекидываются электронными сигналами — ууу, ууу — они общаются цифрами, голосом рассудка. Они тяжело лязгают оружием и железной броней.

Но они обошли меня по кругу и стягиваются, пять металлических пальцев сжимаются в кулак. Я запутываю следы. Другие фокусы: влезть на дерево, но некогда, и деревья недостаточно высокие. Залечь за валунами, ночью да, но не сейчас, и нет валунов, они втянулись в землю, как раз когда нужны мне. Бежать, больше ничего не остается, хотя я молюсь, сила меня оставила, все оставили меня, даже солнце.

Я поворачиваю к озеру, здесь высокий берег, крутой склон, в основном песчаный. Переваливаюсь через гребень и скольжу вниз, похоже на коленях и локтях, оставляя борозды, надеюсь,

они не заметят следов. Я не показываюсь из-под одеяла, так что белого не видно, и передвигаюсь согнувшись, опустив лицо к корням деревьев, торчащим из смытой почвы. Скрученные — это кедры. На одной ноге у меня порез, и на руке тоже, чувствую, как кровь сочится, точно сок растений.

Лязг и крики проносятся мимо меня и слышатся снова, удаляясь, потом приближаясь. Я сижу не шевелясь — не выдавай себя. Уходят назад в лес, группой: говорят, смеются. Может, они принесли еду, в корзинах и термосах, может, думали устроить пикник. Мое сердце сжимается, разжимается, я прислушиваюсь.

Звук заводящегося мотора подстегивает меня. Лезу вверх по склону и приседаю за стволами деревьев — если останусь на берегу, они могут увидеть. Шум вырывается из-за мыса, и они пролетают мимо так близко, что я могла бы докинуть камнем. Пересчитываю их, чтобы знать наверняка, — пятеро.

Они такие, они не оставят тебя в покое, они не хотят, чтобы у тебя было что-то, чего нет у них. Я остаюсь на берегу, отдыхая, зализывая ссадины; шерсть еще не растет на коже, слишком рано.

Пробираюсь назад к хижине, наперекор богам,

хотя они, возможно, спасли меня; ковыляю, кровь еще течет из ноги, но не сильно. Я задумываюсь: а вдруг они поставили капканы; нужно держаться подальше от моего укрытия. Пойманные животные отгрызают себе конечности, чтобы освободиться. Интересно, смогла бы я так?

Мне было некогда голодать, даже сейчас голод не тревожит меня, не настаивает; я, должно быть, привыкаю к нему, скоро смогу обходиться вообще без еды. Позже поищу на другой тропе; в ее конце каменный мыс, там кусты черники.

Когда подхожу к сараю, меня охватывает страх, я чувствую силу в подошвах ног, исходящую из земли, беззвучное гудение. Мне запрещено ходить по тропам. Как и все, чего касался металл, оставляя шрамы; путь расчищали топором и мачете, порядок наводили ножами. Он выбрал не ту работу, он был на самом деле землемером, изучал деревья, называя их по именам и подсчитывая, чтобы другие могли все разметить и выкорчевать. Теперь он должен это понимать. Я сторонюсь, обхожу вытоптанные места, которых касалась обувь, спускаясь к озеру.

Он стоит у забора спиной ко мне, глядя на огород. Предвечерний солнечный свет наклонно падает между деревьями на холм и на его фигуру,

окутывая его оранжевой дымкой, он колышется, словно под водой.

Он сознает, что он здесь посторонний; хижина, заборы, огни и тропы — это насилие; теперь его не пускает его собственный забор, как логика не пускает любовь. Он хочет, чтобы это прекратилось, чтобы барьеры убрали, он хочет, чтобы лес снова захлестнул все те места, которые расчистил его разум: возмещение ущерба.

Я говорю: «Отец».

Он поворачивается ко мне, и это не мой отец. Это то, что увидел мой отец, то, что ты встречаешь, когда живешь здесь один слишком долго.

Я не напугана, мне слишком опасно его бояться; какое-то время оно пристально смотрит на меня желтыми глазами, волчьими глазами, неглубокими, но искристыми, как у животных ночью, в свете фар. Отражатели. Оно меня не одобряет и не порицает, оно говорит мне, что ему нечего сказать, только предъявить самое себя.

Затем его голова отворачивается от меня неестественным, почти насильственным движением: я ему не интересна, я часть ландшафта, я могла быть чем угодно — деревом, скелетом оленя, камнем.

Теперь я вижу, что, хоть это и не мой отец, это

то, во что превратился отец. Я знала, что он не мертв.

Из озера выпрыгивает рыба.

Выпрыгивает образ рыбы.

Выпрыгивает рыба, резная деревянная рыба с крапинками, нарисованными на боках, нет, рогатая рыбина, нарисованная красным на утесе, дух-защитник. Она зависает в воздухе, плоть обращается в икону, он снова изменился, вернулся в воду. Сколько же форм он может принимать.

Я смотрю на висящую в воздухе рыбу-отца около часа; затем она падает и шевелится, расходятся круги, это снова обычная рыба.

Когда подхожу к забору, я вижу следы ног, рядышком, в грязи. Мое дыхание учащается, это было правдой, я это видела. Но следы слишком маленькие, к тому же с пальцами; я ставлю в них ноги и понимаю, что это мои следы.

Глава двадцать шестая

Вечером я делаю себе новое логово, ближе к лесу и незаметнее. Я ничего не ем, но ложусь на камни и пью из озера. Ночью я вижу их во сне, такими, какими они были при жизни и когда старели; они в лодке, зеленой, выплывают из бухты.

Проснувшись утром, я понимаю, что они ушли окончательно, вернулись в землю, воздух, воду — туда, где они были до того, как я их призвала. Правил больше нет. Теперь я могу ходить где хочу: в хижине, в огороде, могу ходить по тропинкам. Я одна живая на острове.

Но они здесь были, я в это верю. Я видела их, и они со мной говорили, на другом языке.

Я уже не чувствую голода, но бреду обратно к хижине, опять забираюсь в окно и открываю консервы желтых бобов. Я выбираю жизнь, и это благодаря им. Я сижу, забравшись с ногами на скамейку у стены, и ем бобы из банки, цепляя пальцами, по несколько за раз, слишком много сразу вредно. На полу бардак, разбитые вещи — это я натворила?

Здесь были Дэвид и Анна, они спали в дальней комнате; я помню их, но нечетко, и в воспоми-

нании привкус ностальгии, словно я знала их когда-то давно. Они теперь живут в городе, в другом времени. Но его, фальшивого мужа, я помню более отчетливо и теперь не испытываю к нему ничего, кроме сожаления. Он не был чем-то, во что я верила, он был мужчина как мужчина, средних лет, не первого сорта, эгоистичный и в то же время щедрый, как это обычно бывает; но я была не готова к обычному, нормальному, к этой ненужной жестокости и лжи. Мой брат раньше увидел опасность. Погрузиться с головой во что-то, вступить в войну — или тебя уничтожат. Только должны быть и другие варианты.

Скоро наступит осень, потом зима; в конце августа начнут желтеть листья, уже в октябре пойдет снег и будет идти, пока не насыплет до верха окон или низа крыши, озеро все замерзнет. Может, еще раньше этого закроют шлюзы на плотине, и вода поднимется, я буду смотреть, как она поднимается, день за днем; вероятно, поэтому они приплыли на моторке — не охотиться за мной, а предупредить. В любом случае, я не могу оставаться здесь вечно, не хватит еды. Овощей с огорода надолго не хватит, и консервы с банками кончатся; связь между мной и фабриками прервалась, у меня нет денег.

Если они были поисковиками, то вернутся и, может, скажут, что видели меня, а может, что им просто показалось. Если они не были поисковиками, они ничего не скажут.

Я могла бы сесть в лодку, привязанную в трясине, и проплыть десять миль до деревни — сейчас, завтра, когда отъемся и достаточно окрепну. Затем обратно в город, к вездесущей заразе, американцам. Они существуют, их все больше, с ними приходится иметь дело, но, может быть, на них можно смотреть и предсказывать их действия, и останавливаться, не позволяя себе копировать их.

Больше мне нельзя рассчитывать на богов, они снова под вопросом для меня, такие же умозрительные, как Иисус. Они отступили назад в прошлое, внутрь моей головы — это одно и то же. Больше я их никогда не увижу, я не могу позволить себе этого; теперь мне придется жить обычным способом, признавая их через их отсутствие; как любовь — через ее ошибки, а силу — через ее утрату, отречение. Мне жаль расставаться с ними; но они раскрывают истину только с одной стороны, однобоко.

Нет полного спасения, воскресения — «Отче наш, Матерь наша, — молюсь я, — снизойдите ко

мне» — это не работает: они убывают, меняются, становятся теми, кем были, людьми. Это что-то такое, с чем я никогда не считалась; но их тотальная невинность была моей собственной.

Я впервые пытаюсь представить, что они должны были испытывать, живя здесь: наш отец, отгородившийся от всех на этом острове, защищая нас и себя в разгар войны, в бедной стране; сколько сил, должно быть, требовалось, чтобы поддерживать его иллюзии о здравом смысле и милосердном порядке, если он их вообще прилагал. Наша мама, собирающая времена года под всеми ветрами и лица своих детей, ведущая подробнейший дневник, чтобы можно было не замечать многого другого — боль и изолированность, и с чем еще ей приходилось бороться, что-то из канувшего в Лету, чего я никогда не узнаю. Теперь до них не дотянуться, они теперь сами по себе, больше, чем когда-либо.

Я ставлю полупустую банку на стол и осторожно иду по комнате босиком, обходя осколки стекла. Я поворачиваю зеркало к себе: существо в нем — не животное, не человек — без шерсти, в грязном одеяле, с сутулыми плечами, пристальным взглядом глубоко запавших глаз, голубых как лед; губы сами шевелятся. Это был стереотип:

солома в волосах, молоть всякую чушь, лишь бы что-то сказать. Чтобы было, с кем поговорить на одном языке: их понимание здравомыслия.

Теперь это реальная опасность: больница или зоопарк, куда нас помещают, целыми видами и по отдельности, когда мы больше не можем тягаться с ними. Они никогда не поверят, что это всего лишь женщина как она есть, в естественном состоянии — в их представлении это загорелое тело на пляже с вымытыми волосами, вьющимися, точно шарф; не это чумазое, поцарапанное лицо, перепачканная, запаршивевшая кожа, волосы как растрепанная мочалка, с листьями и веточками. Новая модель для фотографии на развороте.

Вырывается смех, похожий на вскрик, словно кого-то убили: мышь, птицу?

Глава двадцать седьмая

Прежде всего — перестать быть жертвой. Если я этого не сумею, то не сумею ничего. Я должна покаяться в моих заблуждениях, отказаться от прежнего убеждения в том, что я бессильна и потому, что бы я ни сделала, никому не будет больно. Это ложь, всегда приносившая больше вреда, чем могла бы принести правда. Игры в слова, игры типа «Кто кого» закончены; на данный момент я одна, но мне придется изобрести других, дистанцироваться больше невозможно, альтернатива — смерть.

Я роняю одеяло на пол и иду в свою разгромленную комнату. Там моя одежда, порезанная, но я все равно могу носить ее. Я одеваюсь, неуклюже, ковыряясь с пуговицами; я снова вхожу в свое время.

Но я привожу с собой из далекого прошлого — миновало пять ночей — путешественницу во времени, девственную душу, которой придется учиться; теперь у меня в животе золотая рыбка, переживающая свои подводные преображения. Слово уже бороздит задатки его протомозга, нехоженые тропы. Никакой он не бог, если он вообще

там есть, даже в этом я не уверена; я пока не знаю, еще слишком рано. Но я допускаю его существование: если я умру, умрет и он, буду голодать, он будет голодать со мной. Это может быть первый из всех, первый настоящий человек; он должен родиться, я должна позволить ему это.

Я на огороде, когда приплывает лодка. Это не Эванс; это лодка Поля, угловатая и медленная, выкрашенная в белый, он сам ее сделал. Поль на корме, у древнего мотора; на носу Джо.

Я выхожу из калитки и отступаю за деревья — белые березы, сгрудившиеся у тропы, — делаю все без спешки, не убегая, но с осторожностью.

Мотор стихает, лодка тычется носом в мостки. Поль встает с веслом, подгребая; Джо выбирается, привязывает лодку и делает несколько шагов к берегу.

Он зовет меня по имени и ждет:

— Ты здесь?

Эхо: здесь, здесь?

Должно быть, он ждал в деревне, наверное, поисковики сказали ему, что видели меня, возможно, он был с ними. Он остался, когда Дэвид и Анна уехали в своей машине, или он доехал с ними до города, а потом вернулся автостопом, пешком; важно то, что он здесь, посредник, по-

сланник, предлагающий мне что-то: неволю в любой форме, новую свободу?

Я смотрю на него, моя любовь к нему бесполезна, как третий глаз или некая перспектива. Если я пойду с ним, нам придется разговаривать, деревянные дома так устарели, мы больше не можем жить в худом мире, избегая друг друга как раньше, нам придется начать заново. Для нас это необходимость, заступничество слов; и вероятно, мы не справимся, рано или поздно причинив боль друг другу. Это нормально, так теперь это бывает, и я не знаю, стоит ли оно того, и даже могу ли я на него положиться, его ведь могли подослать. Но он не американец, теперь я это вижу; я не знаю, кто он, он только наполовину оформился, и поэтому я могу доверять ему.

Доверять значит отпускать. Я тянусь вперед, к претензиям и вопросам, хотя мои ноги еще не идут.

Он снова зовет меня, балансируя на мостках, между землей и водой, руки упер в бока, голову откинул и всматривается в берег. Голос у него раздраженный: долго ждать он не будет. Но пока еще ждет.

Озеро спокойно, меня окружают деревья, ни о чем не прося, ничего не давая.